

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

5 класс



ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТАЮТСЯ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

(для 5-го класса)



Художник
Теннадий Соколов

ИВАН БУНИН (1870-1953)



ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

– Холодно, тетка? – спросил странник, лежа на конике¹.

– Нет, – ответила Марья, – туман. А собаки валяются, – беспременно к метели.

¹ Коник – лавка, скамья в крестьянской избе возле двери или печи в виде длинного ящика с крышкой.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень.

Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

– Сиротка! Корову-то прогусарили?

– Продали.

– И лошади нету?

– Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусоч в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку – черны, засалены, подпоясаны по кострецам². За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька... Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лоша́дники-мещане, были и правда свирепы на вид, особенно последний – Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

² То есть по бедрам.

– Ну, – кричал один, – смотри сюда, получай с богом деньги!

– Не мои они, побереги, полцены брать не приходится, – уклончиво отвечал Корней.

– Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!

– Что зря толковать, – рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы – все напоминало в нем эту собачью породу.

– Что за шум, а драки нету? – сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорейча, ехать время, я на выгоне дождю», – и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

– Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

– Долгого взгляда не стоит, – сказал он.

– Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

– Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

– Плоха? – стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

– Долголетня?

– Лошадь не старая.

– Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

– Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

– Молись Богу да полбутылочки ставь.

– Что ты, что ты? – обиделся Корней. – Ты без креста, дядя!

– Что? – воскликнул Талдыкин грозно, – Обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

– Да какие же это деньги?

– Такие, каких у тебя нету.

– Нет, уж лучше не надо...

– Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, – верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, заноса выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны – от грозных окриков матери:

– Ты куда? Чичер, холод – а она, накася! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнувшего клетью, круто

посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

– Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сидением на «грубке» печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завейной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, и за ржами опускалось солнце и золотую пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и тарашил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебежала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери: «Угодники божий, святителю Никола-милостивый, столпохранение людей, матушка пресвятая Пятница – молитте Бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капуста», а спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать.

– Вот домовой-то, – говорил он серьезно, – все спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда», – полушубков не шьют, больше помирают, – и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то кусок» соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился Богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрысник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинышек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил сигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

– Что ж, тетка, – сказал он, – даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

– Что варить-то? – спросила Марья отрывисто.

– Как что? Ай нечего?

– Вот домовой-то... – пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

– Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась.

– Спят, – сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

– Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

– Нечего, – повторил странник. – Бог даст день, Бог

даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам – и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом – вот что!

– Не ночевывал и ты, – вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели, – с ребяташками с голодными, не слышал, как голоса они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала – Христом богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко – в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

– Я вон, – продолжала она, все более волнуясь, – гоню их каждый день на пруд... «Дай капуста, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибли на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить, – думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг, – Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки»; меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была



раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

– Погоняй, потрогивай, Егор, – сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задержал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

– Чтой-то Бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

– Тронуло, да не морозом, – отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

– А как же?

– Объедены.

– Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

– Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

– А кто же?

– Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

– Я объел, – повторил Павел Антоныч. – Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

– Чего оскалешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

– Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

– А кнутовище? – строго и быстро спросил Павел Антоныч.

– Переломилось...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

– На тебе два, дай мне один. А кнут – он, брат, ременный – вернись, найди.

– Да он, может... около городу.

– Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге. А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

– Ты чья? – спросил он.

– Корнеева, – ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

– Постой, постой, – закричал Павел Антоныч, – я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями.

Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом – Танька сперва не брала – «он чернищий, ну-кась умрешь», – дал ей несколько кусков сахара. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встщила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

– Опять? – сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такую добротой, такую старчески-детскою радостью.

– погоди, – шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку».

Заря ль моя, зоренька,
Заря ль моя ясная!



Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-зарю
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, – и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые – звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...



АЛЕКСАНДР КУПРИН (1870-1938)



МЫСЛИ САПСАНА О ЛЮДЯХ, ЖИВОТНЫХ, ПРЕДМЕТАХ И СОБЫТИЯХ

Я Сапсан – большой и сильный пес редкой породы, красно-песочной масти, четырех лет от роду и вешу около шести с половиной пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем семь (дальше я не умею считать), мне повесили на шею тяжелую желтую лепешку, и все меня хвалили.

Однако лепешка ничем не пахла.

Я – медеян! Друг Хозяина уверяет, что это название испорчено. Надо говорить «недеян». В глубокую старину для народа раз в неделю устраивалась потеха: стравливали медведей с собаками. Отсюда и слово. Мой прапращур Сапсан I в присутствии грозного царя Иоанна IV, взяв медведя-стервятника «по месту» за горло, бросил его на землю, где он и был приколот корытничим. В честь и па-

мять его лучшие из моих предков носили имя Сапсана. Такой родословной могут похвастаться немногие жалованные графы. С представителями же древних человеческих фамилий меня сближает то, что кровь наша, по мнению знающих людей, голубого цвета. Название же Сапсан – киргизское, и значит оно – ястреб.

Первое во всем мире существо – Хозяин. Я вовсе не раб его, даже не слуга и не сторож, как думают иные, а друг и покровитель. Люди, эти ходящие на задних лапах, голые, носящие чужие шкуры животные, до смешного неустойчивы, слабы, неловки и беззащитны. Но зато они обладают каким-то непонятным для нас, чудесным и немного страшным могуществом, а больше всех – Хозяин. Я люблю в нем эту странную власть, а он ценит во мне силу, ловкость, отвагу и ум. Так мы и живем.

Хозяин честолюбив. Когда мы с ним идем рядом по улице – я у его правой ноги, – за нами всегда слышатся лестные замечания: «Вот так собачище... целый лев... какая чудная морда и так далее». Ни одним движением я не даю Хозяину понять, что слышу эти похвалы и что знаю, к кому они относятся. Но чувствую, как мне по невидимым нитям передается его смешная, наивная, гордая радость. Чудак. Пусть тешится. Мне он еще милее со своими маленькими слабостями.

Я силен. Я сильнее всех собак на свете. Они это узнают еще издали по моему запаху, по виду, по взгляду. Я же на расстоянии вижу их души лежащими передо мной на спинах, с лапами, поднятыми вверх. Строгие правила собачьего единоборства воспрещают мне прекрасную благородную радость драки. А как иногда хочется!.. Впрочем, большой тигровый дог с соседней улицы совсем перестал выходить из дома после того, как я его проучил за невеж-

ливость. И я, проходя мимо забора, за которым он жил, уже не чую его запаха. Люди не то. Они всегда давят слабого. Даже Хозяин, самый добрый из людей, иногда так бьет – вовсе не громкими, но жестокими – словами других, маленьких и слабых, что мне становится стыдно и жалко. Я тихонько тычу его в руку носом, но он не понимает и отмахивается.

Мы, собаки, в смысле нервной восприимчивости в семь и еще много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия, слова, изменения голоса, взгляды и прикосновения. Я же познаю их души просто, одним внутренним чутьем. Я чувствую тайными, неведомыми, дрожащими путями, как их души краснеют, бледнеют, трепещут, завидуют, любят, ненавидят. Когда Хозяина нет дома, я издали знаю: счастье или несчастье постигло его. И я радуюсь или грущу.

Говорят про нас: такая-то собака добра или же такая-то – зла. Нет. Зол или добр, храбр или труслив, щедр или скуп, доверчив или скрытен бывает только человек. А по нему и собаки, живущие с ним под одной кровлей.

Я позволяю людям гладить себя. Но я предпочитаю, если мне протягивают сначала открытую ладонь. Лапу когтями вверх я не люблю. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень. (Меньшая дочь Хозяина, моя любимица, не умеет выговорить «камень», а говорит «кабин»). Камень – вещь, которая летит далеко, попадает метко и ударяет больно. Это я видел на других собаках. Понятно, в меня никто не осмелится швырнуть камнем!

Какие глупости говорят люди, будто бы собаки не выдерживают человеческого взгляда. Я могу глядеть в глаза

Хозяина хоть целый вечер, не отрываясь. Но мы отводим глаза из чувства брезгливости. У большинства людей, даже у молодых, взгляд усталый, тупой и злой, точно у старых, больных, нервных, избалованных хрипучих мосек. Зато у детей глаза чисты, ясны и доверчивы. Когда дети ласкают меня, я с трудом удерживаюсь, чтобы не лизнуть кого-нибудь из них прямо в розовую мордочку. Но Хозяин не позволяет, а иногда даже погрозит плеткой. Почему? Не понимаю. Даже и у него есть свои странности.

О косточке. Кто же не знает, что это самая увлекательная вещь в мире. Жилки, хрящики, внутренность ноздреватая, вкусная, пропитанная мозгом. Над иным занимательным мосолком можно охотно потрудиться от завтрака до обеда. И я так думаю: кость – всегда кость, хотя бы самая подержанная, а следовательно, ею всегда не поздно позабавиться. И потому я зарываю ее в землю в саду или на огороде. Кроме того, я размышляю: вот было на ней мясо и нет его; почему же, если его нет, ему снова не быть?

И если кто-нибудь – человек, кошка или собака – проходит мимо места, где она закопана, я сержусь и рычу. Вдруг догадаются? Но чаще я сам забываю место и тогда долго бываю не в духе.

Хозяин велит мне уважать Хозяйку. И я уважаю. Но не люблю. У нее душа притворщицы и лгуни, маленькая-маленькая. И лицо у нее, если смотреть сбоку, очень похоже на куриное. Такое же озабоченное, тревожное и жестокое, с круглым недоверчивым глазом. Кроме того, от нее всегда прескверно пахнет чем-то острым, пряным, едким, удушливым, сладким – в семь раз хуже, чем от самых пахучих цветов. Когда я ее сильно нанюхаюсь, то надолго теряю способность разбираться в других запахах. И все чихаю.

Хуже ее пахнет только один Серж. Хозяин зовет его другом и любит. Хозяин мой, такой умный, часто бывает большим дураком. Я знаю, что Серж ненавидит Хозяина, боится его и завидует ему. А ко мне Серж заискивает. Когда он протягивает ко мне издали руку, я чую, как от его пальцев идет липкая, враждебная, трусливая дрожь. Я зарычу и отвернусь. Ни кости, ни сахара я от него никогда не приму. В то время, когда Хозяина нет дома, а Серж и Хозяйка обнимают друг друга передними лапами, я лежу на ковре и гляжу на них пристально, не моргая. Он смеется натянуто и говорит: «Сапсан так на нас смотрит, как будто все понимает». Врешь, я не все понимаю в человеческих подлостях. Но я предчувствую всю сладость того момента, когда воля Хозяина толкнет меня и я вцеплюсь всеми зубами в твою жирную икру. Арргрра... гхрр.

После Хозяина всех ближе моему собачьему сердцу «Маленькая» – так я зову Его дочку. Никому бы, кроме нее, я не простил, если бы вздумали таскать меня за хвост и за уши, садиться на меня верхом или запрягать в повозку. Но я все терплю и повизгиваю, как трехмесячный щенок. И радостно мне бывает по вечерам лежать неподвижно, когда она, набегавшись за день, вдруг задремлет на ковре, прикорнув головкой у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом и свалю ее на пол.

Иногда мы с нею развозимся, и она начинает хохотать. Я это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх всеми четырьмя лапами и лаю громко, как только могу. И меня обыкновенно вытаскивают за ошейник на улицу. Почему?

Летом был такой случай на даче. «Маленькая» еще едва ходила и была препотешная. Мы гуляли втроем. Она, я и нянька. Вдруг все заметались – люди и животные. По-

середине улицы мчалась собака, черная в белых пятнах, с опущенной головой, с висячим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежала с визгом. «Маленькая» села на землю и запищала. Собака неслась прямо на нас. И от этого пса сразу повеяло на меня острым запахом безумия и беспредельно-бешеной злобы. Я задрожал от ужаса, но превозмог себя и загордил телом «Маленькую».

Это уже было не единоборство, а смерть одному из нас. Я сжался в комок, выждал краткий, точный миг и одним толчком опрокинул пеструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, такая плоская и совсем теперь не страшная.



Не люблю я лунных ночей, и мне нестерпимо хочется вить, когда я гляжу на небо. Мне кажется, что оттуда стережет кто-то очень большой, больше самого Хозяина, тот, кого Хозяин так непонятно называет «Вечность» или иначе. Тогда я смутно предчувствую, что и моя жизнь когда-нибудь кончится, как кончается жизнь собак, жуков и растений. Придет ли тогда, перед концом, ко мне Хозяин? Я не знаю. Я бы очень этого хотел. Но даже если он и не придет – моя последняя мысль все-таки будет о Нем.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
(1871-1919)



КУСАКА

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страха, переметываясь со стороны на сторону, натываясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

– Жучка! – позвал он ее именем, общим всем собакам, – Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

– Да пойдя, дура! Ей-богу, не трону!

Но пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

– У-у-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой.

С тех пор собака не доверяла людям, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее.

На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

– Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

– Ай, злая собака! – убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: – Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала

телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстился запах душистого свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напутавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется, но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

– А где же наша Кусака?

И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, – словно это был не хлеб, а камень, – и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

– Кусачка, походи ко мне! – звала она к себе. – Ну, хорошая, ну, милая, походи! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, походи же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит?

– Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.



– Мама, дети! Смотрите: я ласкаю Кусаку! – закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами – у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все напереыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве не достаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас.

И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такую гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственно, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! — кричала Леля

и, задыхаясь от смеха, просила: – Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так!..

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях.

Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

– Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте.

Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи и, когда маленькие дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

– Как же нам быть с Кусакой? – в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально гляде-

ла в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

– Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? – сказала мать и добавила: – А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

– Жа-а-лко, – протянула Леля.

– Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

– Жа-а-лко, – повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

– Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что – дворняжка!

– Жа-а-лко! – повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

– Ты здесь, моя бедная Кусачка, – сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному – в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. – Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за эту плотную стеною.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими кучами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным, шире и печальней стала туманная осенняя даль.

– Скучно, Кусака! – тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, грязная – вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

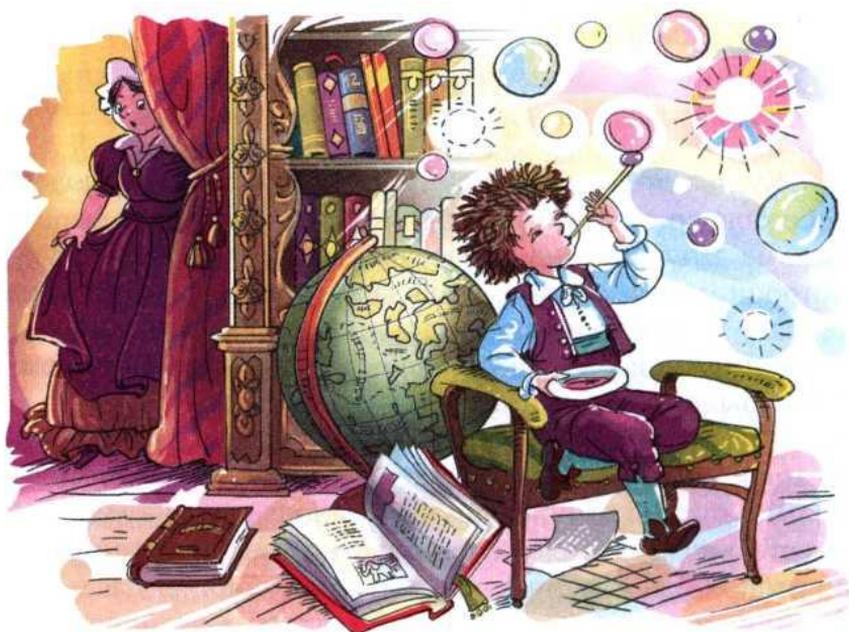
Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завывала. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.



АЛЕКСАНДР ГРИН (1880-1932)



ГНЕВ ОТЦА

Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например дырка на желтой портъере, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа, – но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия – стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу прокаженных – сделаться преступником или бродягой – и, окончив выговор, сказала:

– Страшись гнева отца! Как только придет брат, я обязательно безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:

– Его гнев будет ужасен!

Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократно упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев, – значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.

Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:

– Хуг!

Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.

– Все спокойно на Ориноко, – сказал он, – Гуроны преступили в прерию.

Но Том опечалился и не поддался игре.

– Не знаете ли вы, что такое гнев? – мрачно спросил он. – Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе.

– Гнев?

– Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним придет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.

– Ах, так! – сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага. – Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здо-

рово бегают! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.

Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой.

Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кидд (из книги «Береговые пираты») должен был пить ром на необитаемом острове в совершенном и отвратительном одиночестве.

Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:

— За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.

Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добросовестно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки.

Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.

О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил.

Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.

По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и, крадучись, проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.

Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено.

Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.

– Скажи, Том, – начал дядя, – достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?

– Я думал, – сказал Том. – Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который придет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.

Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.

– Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака, – сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета. – Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.

С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.

Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цинний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.

Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже, рядом с пожилым черноусым человеком, сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами.

Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.

Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» – думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, с жадной утешения и пощады.

С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга – все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы.

– Да, я выехал днем раньше, – говорил Беринг, – чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.

– Я приведу его, – сказал Карл.

– Я пришел сам, – сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.

Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку. Дядя Карл вытаращил глаза.

– Но ведь ты был наказан! Был заперт!

– Сегодня он амнистирован, – заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.

«Не это ли его гнев? – подумал Том, – Едва ли. Не похоже».

– Она будет твоя мать, – сказал Беринг. – Будьте матерью этому дурачку, Кэт.

– Мы будем с тобой играть, – шепнул на ухо Тома теплый щекочущий голос.

Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.

Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию.

Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.

Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят.

Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков – среди них два с откинутыми к стене крышками – непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.

Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг и, держа его в вытянутой руке, осмелев, подступил к раскрытому сундуку.

Тогда он увидел гнев.

Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза.

Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.

Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.

– Я убил твой гнев! – кричал он в восторге и потрясении. – Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!

– Успокойся, Том, – сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына. – Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(1882/1883-1945)



РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Русский характер! – для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, – мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев – я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, – колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, – бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке – ядро. Разумеется, – у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марию Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой – человек степенный, первое – он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием – гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое – уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь – это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» – «Тьфу, бестолковый! – скажет третий. – Любовь – это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, – очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать, – дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев:

– ...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за

горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» – «Вперед, – кричит, – полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться – вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил – мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, – брызги! Как даст еще в башню, – он и хобот задрал... Как даст в третий, – у тигра изо всех щелей повалил дым, – пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, – они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А – грязно, понимаешь, – другой выскочит из сапогов и в одних носках – порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну – двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще – и проутюжил, – остальные руки вверх – и Гитлер капут...

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк – на бугре, на пшеничном поле – был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, – он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? – рассказывал Чувилев. – Слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости.

Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

– Бывает хуже, – сказал он, – с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто щупал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». – «Но вы же инвалид», – сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба – родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, – при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы, – каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое – чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под гру-

дью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.



Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце – привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, – хриплый, глухой, неясный.

– Батюшка, а чего тебе надо-то? – спросила она.

– Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

– Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говорила: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, – подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и – кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

– Ты скажи – страшно на войне-то? – перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

– Да, конечно, страшно, мамаша, однако – привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, – бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, – ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно – зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дальше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, – встать, сказать: да признайте же вы меня, уroda, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

– Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. – Егор Егорович открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, – они там и лежали, – и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, – всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать.

Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особен-

но пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

– Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

– Народ осерчал, – ответил Егор Егорович, – через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу капут.

Марья Поликарповна спросила:

– Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, – к нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай взрослый стал, с усами ходит... Эдак – каждый день – около смерти, чай и голос у него стал грубый?

– Да вот приедет – может, и не узнаете, – сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом – тем родным уютom, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер по-свистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, – думал, – неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

– Ты блинki пшeнные eшь? – спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и – босой – сел на лавку.

– Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

– Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

– Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя – поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, – свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

– Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти – сегодня же.

Мать напекла пшениных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, – рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, – но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, – пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, – эту занозу он из сердца вырвет.

...Недели через две пришло от матери письмо: «Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, – че-

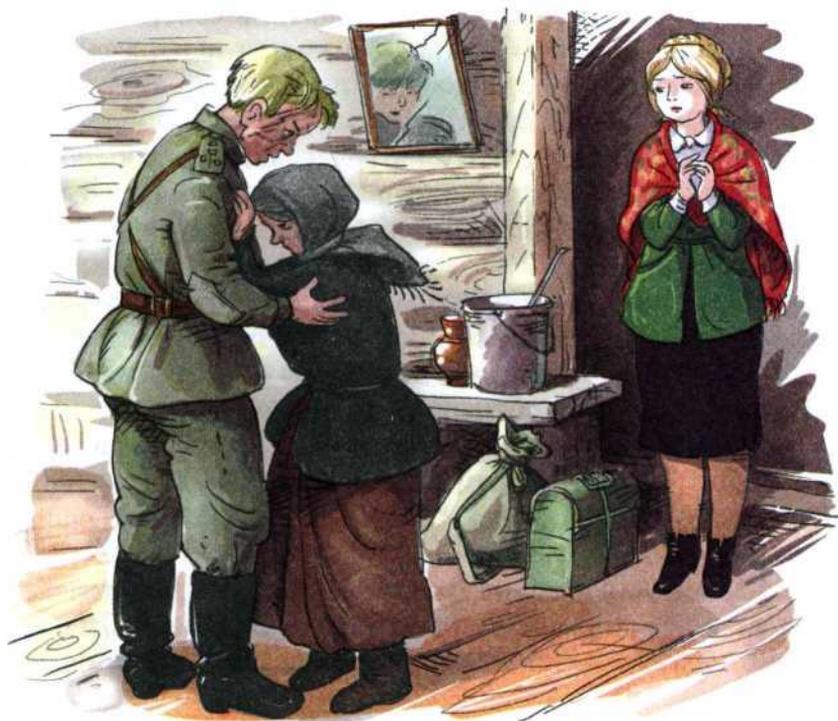
ловек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, – кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, – совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын – разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он, – таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце – все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор – почистить, да припаду к ней, да заплачу, – он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, – что было? Или уж вправду – с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее, и так далее – на четырех страницах мелким почерком, он бы и на двадцати страницах написал – было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, – прибегает солдат и – Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по своей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу – он не в себе, – все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а – нервы». Входим в избу, он – впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу – маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказы-



вается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видал.

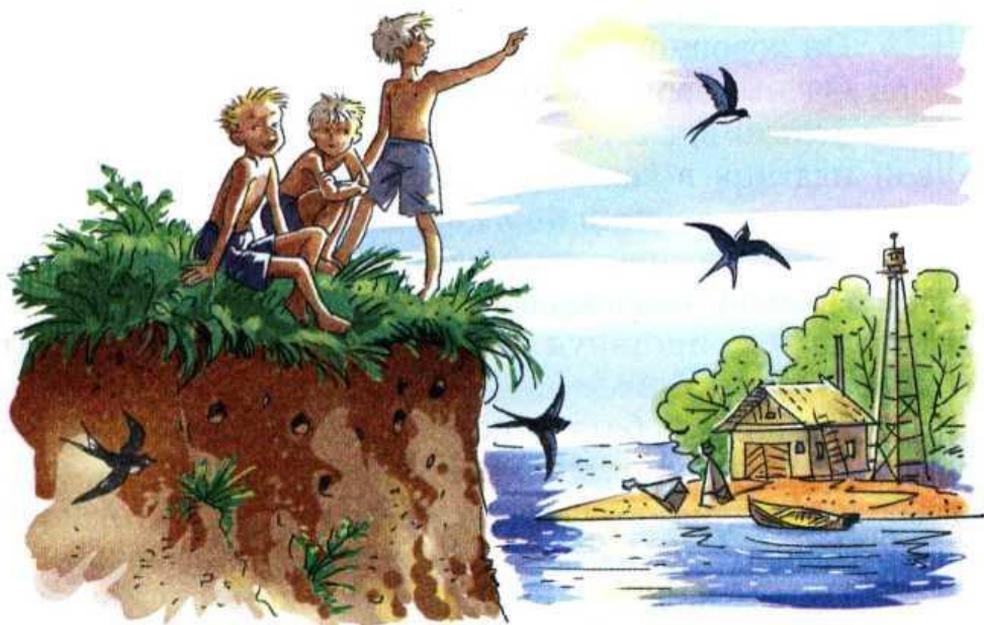
Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны, «Катя! — говорит он, — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

(1892-1968)



БАКЕНЩИК

Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к сторожке бакенщика Семена.

Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошли трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды, над обрывом. Тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки; в обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись.

– Вы откуда? – спросил я их.

– Из Ласковского леса, – ответили они и рассказали, что они пионеры из соседнего города, приехали в лес на

работу, вот уже три недели пилят дрова, а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на песок.

– Он только ворчливый, – сказал самый маленький мальчик. – Все ему мало, все мало. Вы его знаете?

– Знаю. Давно.

– Он хороший?

– Очень хороший.

– Только вот все ему мало, – печально подтвердил худой мальчик в кепке. – Ничем ему не угодишь. Ругается.

Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал:

– Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают. Вот и выходит, что нам, старым венникам, их обучать полагается. Верно я говорю? Садитесь в лодку. Поехали.

– Ну, вот видите, – сказал маленький мальчик, залезая в лодку. – Я же вам говорил!

Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен, старик многоречивый, тотчас завел разговор.

– Ты только не думай, – сказал он мне, – они на меня не в обиде. Я им уже столько в голову вколотил – страсть! Как дерево пилить – тоже надо знать. Скажем, в какую сторону оно упадет. Или как схорониться, чтобы комлем не убило. Теперь небось знаете?

– Знаем, дедушка, – сказал мальчик в кепке. – Спасибо.

– Ну, то-то! Пилу небось развести не умели, древоколы, работнички!

– Теперь умеем, – сказал самый маленький мальчик.

– Ну, то-то! Только это наука не хитрая. Пустая наука! Этого для человека мало. Другое знать надобно.

– А что? – встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках.

– А то, что теперь война. Об этом знать надо.

– Мы и знаем.

– Ничего вы не знаете. Газетку мне наемдни вы принесли, а что в ней написано, того вы толком определить и не можете.

– Что же в ней такого написано, Семен? – спросил я.

– Сейчас расскажу. Курить есть?

Мы скрутили по махорочной сигарке из мятой газеты. Семен закурил и сказал, глядя на луга:

– А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?

– Правильно.

– А что это есть – любовь к родине? Вот ты их и спроси, мальчишек. И видать, что они ничего не знают.

Мальчишки обиделись:

– Как не знаем!

– А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку. Погоди, ты не высказывай, дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь: «Иду я за родную землю». Так вот ты и скажи: за что же ты идешь?

– За свободную жизнь иду, – сказал маленький мальчик.

– Мало этого. Одной свободной жизнью не проживешь.

– За свои города и заводы, – сказал веснушчатый мальчик.

– Мало!

– За свою школу, – сказал мальчик в кепке. – И за своих людей.

– Мало!

– И за свой народ, – сказал маленький мальчик, – Чтобы у него была трудовая и счастливая жизнь.

– Все вы правильно говорите, – сказал Семен, – только мало мне этого.

Мальчишки переглянулись и насупились.

– Обиделись! – сказал Семен. – Эх вы, рассудители! А, скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели? А?

Мальчишки молчали.

– Вот я и вижу, что вы не все понимаете, – заговорил Семен. – И должен я, старый, вам объяснить. А у меня и своих дел хватает: бакены проверять, на столбах метки вешать. У меня тоже дело тонкое, государственное дело. Потому – эта река тоже для победы старается, несет на себе пароходы, и я при ней вроде как пестун, как охранитель, чтобы все было в исправности. Вот так получается, что все это правильно – и свобода, и города, и, скажем, богатые заводы, и школы, и люди. Так не за одно это мы родную землю любим. Ведь не за одно?

– А за что же еще? – спросил веснушчатый мальчик.

– А ты слушай. Вот ты шел сюда из Ласковского леса по битой дороге на озеро Тишь, а оттуда лугами на Остров и сюда ко мне, к перевозу. Ведь шел?

– Шел.

– Ну, вот. А под ноги себе глядел?

– Глядел.

– А видеть-то ничего и не видел. А надо бы поглядывать, да примечать, да останавливаться почаще. Остановишься, нагнешься, сорвешь какой ни на есть цветок или траву – и иди дальше.

– Зачем?

– А затем, что в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая прелесть заключается. Вот, к примеру, клевер. Кашкой вы его называете. Ты его нарви, понюхай – он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек и тот улыбнется. Или, скажем, ромашка. Ведь ее грех сапогом раздавить. А медуница? Или сон-трава. Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или купена. Да вы ее, видать, и не знаете. Лист широкий, твердый, а под ним

цветы, как белые колокола. Вот-вот заденешь – и зазвонят. То-то! Это растение приточное. Оно болезнь исцеляет.

– Что значит приточное? – спросил мальчик в кепке.

– Ну, лечебное, что ли. Наша болезнь – ломота в костях. От сырости. От купены боль тишает, спишь лучше и работа становится легче. Или аир. Я им полы в сторожке посыпаю. Ты ко мне зайди – воздух у меня крымский. Да! Вот иди, гляди, примечай. Вон облак стоит над рекой. Тебе это невдомек, а я слышу – дождиком от него тянет. Грибным дождем – спорым, не очень шумливым. Такой дождь дороже золота. От него река теплеет, рыба играет, он все наше богатство растит. Я часто, ближе к вечеру, сижу у сторожки, корзины плету, потом оглянусь и про всякие корзины позабуду – ведь это что такое! Облак в небе стоит из жаркого золота, солнце уже нас покинуло, а там, над землей, еще пышет теплом, пышет светом. А погаснет – и начнут в травах коростели скрипеть, и дергачи дергать, и перепела свистеть, а то, глядишь, как ударят соловьи будто громом – по лозе, по кустам! И звезда взойдет, остановится над рекой и до утра стоит – загляделась, красавица, в чистую воду. Так-то, ребята! Вот на это все поглядишь и подумаешь: жизни нам отведено мало, нам надо двести лет жить – и то не хватит. Наша страна – прелесть какая! За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, убереечь ее, защитить, не давать на осквернение. Правильно я говорю? Все шумите, «родина», «родина», а вот она, родина, за стогами!

Мальчики молчали, задумались. Отражаясь в воде, медленно пролетела цапля.

– Эх, – сказал Семен, – идут на войну люди, а нас, старых, забыли! Зря забыли, это ты мне поверь. Старик – солдат крепкий, хороший, удар у него очень серьезный. Пустили бы нас, стариков, – вот тут бы немцы тоже почесались. «Э-э-э, – сказали бы немцы, – с такими стариками нам биться не путь! Не дело! С такими стариками последние порты растеряешь. Это, брат, шутишь!»

Лодка ударилась носом в песчаный берег. Маленькие кулики торопливо побежали от нее вдоль воды.

– Так-то, ребята, – сказал Семен. – Опять небось будете на деда жаловаться – все ему мало да мало. Непонятный какой-то дед.

Мальчики засмеялись.

– Нет, понятный, совсем понятный, – сказал маленький мальчик. – Спасибо тебе, дед.

– Это за перевоз или за что другое? – спросил Семен и прищурился.

– За другое. И за перевоз.

– Ну, то-то!

Мальчики побежали к песчаной косе – купаться. Семен поглядел им вслед и вздохнул.

– Учить их стараюсь, – сказал он. – Уважению учить к родной земле. Без этого человек – не человек, а труха!



К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами...

– Ты что, одурел? – крикнул ветеринар. – Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

– А вы не лаяйтесь, это заяц особенный, – хриплым шепотом сказал Ваня. – Его дед прислал, велел лечить.

– От чего лечить-то?

– Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

– Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком – деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

– Ты чего, малый? – спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. – Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

– Пожженный он, дедушкин заяц, – сказал тихо Ваня, – На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умереть.

– Не умереть, малый, – прошамкала Анисья. – Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пушай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной, на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

– Ты чего, серый? – тихо спросил Ваня. – Ты бы поел.

Заяц молчал.

– Ты бы поел, – повторил Ваня, и голос его задрожал. – Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес – надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.



Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба.

Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади.

Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховой вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

– Не то лошадь, не то невеста – шут их разберет! – сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

– Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш, специалист по детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

– Это мне нравится! – сказал аптекарь, – Интересные пациенты завелись в нашем городе! Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

– Почтовая улица, три! – вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. – Три!

Дед с Ваней добрались до Почтовой улицы как раз вовремя – из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полями уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

– Я не ветеринар, – сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. – Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

– Что ребенок, что заяц – все одно, – упрямо пробормотал дед. – Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь – бросить!

Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар – от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал – воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.



Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть наступала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чувствуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то быстро!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед – оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

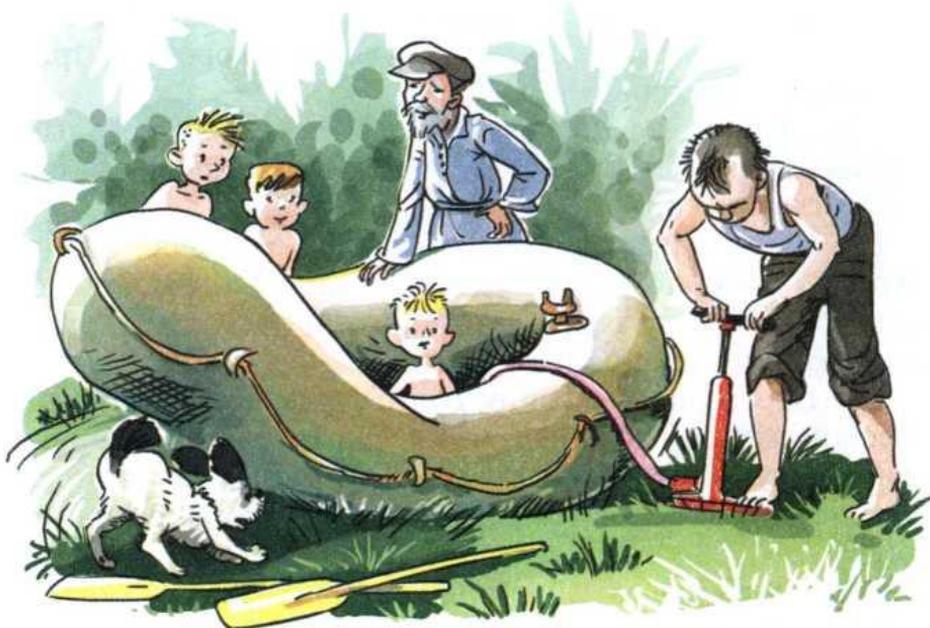
– Да, – сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, – да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

– Чем же ты провинился?

– А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сени. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.





РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.

Купили мы ее еще зимой в Москве и с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь еще не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканьем, то снился пронзительный разбойничий свист – это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, – и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте около Чертова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу.

Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с черными ушами – Мурзик – лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок.

Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше чем на час.

Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас:

– Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутитя!

После испытания дед Десять процентов щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

– Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг – Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса – и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воюя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей. К морде прилипали листья и куриный пух, и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой. Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на рыжего кота, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

«Отвяжись, а то так тебя двину...»

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза.

Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унижить этого дурака. Но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили. Так он сгрыз книжку стихов, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза – я купил его по случаю за три рубля.

Наконец Мурзик добрался до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать, – резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускающий воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал – пробка ему начинала нравиться.

Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь: густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух.

Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а рыжий кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.



После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны – хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора. Нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду. Он визжал от радости, но не забывал извиняться: все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку – в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины – мы звали ее «смакатурой» – и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому песику бежать одному через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то, на самом краю земли, слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безымянном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинувшись необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой, поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым...

Утром мы взяли Мурзика с собой в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса поглядывал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды рыжий кот залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот словчился, ударил Мурзика лапой по ушам и со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскаленную сковородку с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов зелеными завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал.



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ (1899-1951)



СУХОЙ ХЛЕБ

1

Жил в деревне Рогачевке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова еще дедушка, да он умер от старости еще до войны, и лица его Митя не помнил; помнил он только доброе тепло у груди деда, что согревало и радовало Митю, помнил грустный, глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. «Куда ушел дедушка?» — думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел ее. Он думал, что и бревна в их избе, и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и коровы, только они спят.

– А где дедушка? – спрашивал Митя у матери. – Он спит в земле?

– Он спит, – говорила мать.

– Он уморился? – спрашивал Митя.

– Уморился, – отвечала мать, – Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плел; всю жизнь ему спать было некогда.

– Мама, разбуди его! – просил Митя.

– Нельзя. Он осерчает.

– А папа спит?

– И папа спит.

– У них ночь?

– У них ночь, сынок.

– Мама, а ты никогда не уморишься? – спрашивал Митя и с боязнью смотрел на материнское лицо.

– Нет, чего мне, сынок, я никогда не уморюсь. Я здоровая, я не старая... Я тебя еще долго буду растить, а то ты у меня маленький.

И Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснет, как уснули дед и отец.

Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали. Мать была большая, сильная: под ее руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери.

В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки черного пламени, будто ветер сдувал огонь с солнца и нес его по земле. В полдень все небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал ее в мертвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.

Мать Мити пахала паровое поле. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, что стояла на пашне, и, когда набиралась полная бадья, она поила волов, чтобы они не затамились и пахали. Митя видел, как тяжело было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волы. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.

Подумав так, Митя пошел домой. Мать ночью испекла хлеба и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было: он хотел скорее вырасти большим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мягкость и хлебную корку; сперва он ел в охоту, а потом стал давиться от сытости; хлеб из его рта хотел выйти обратно, а он запикивал его пальцами и терпеливо жевал. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не надо было. Ему надо есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел еще капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печеную картошку из горшка, макая ее в соль. Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.

Вечером мать пришла с пахоты. Видит она: спит ее сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его – не искусал ли его кто, глядит – живот у него как барабан.

Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне. А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.

С утра Митя ходил по деревне, потом пошел на пашню к матери и все время поглядывал на встречных и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень, не длиннее ли она стала. Тень его словно бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.

– Мама, – сказал Митя, – давай я пахать буду, мне пора!

Мать ответила ему:

– Обожди! Придет и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный еще, тебе расти и кормиться еще надо, и я тебя буду кормить!

Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.

– Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!

Мать улыбнулась ему, и от нее, от матери, все стало вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его сердце от радости.

– Мама! – воскликнул Митя. – А что мне надо делать? А то я тебя люблю.

– А что тебе делать! – сказала мать, – Живи, вот тебе работа. Думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай.

– А обо мне ты тоже думаешь?

– О тебе я тоже думаю – один ты у меня, – ответила мать. – Ой, лешие! Чего стали? – сказала она волам. – А ну, вперед! Не евши, что ль, жить будем?

2

В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали ста-

рые от времени, по ним уже давно рос зеленый мох. А сам сарай ушел с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика. В темном углу того сарая лежали старые, давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот темный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: «Его дедушка в руках держал, и я держу». Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю. Митя нашел там еще колесо от домашней прядки и картинку, на которой был нарисован страшный старик, глядящий из облака на землю. Там же валялся кочедык: он был нужен дедушке, когда он плел лапти себе и своим детям. Там еще много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них, он думал о том, как они жили давно в старинное время; тогда еще Мити не было на свете, и всем скучно было, что его нету.

Нынче Митя нашел в сарае твердую дубовую палку: на одном конце ее был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или еще что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнес ее в избу. Может быть, она ему сгодится: дедушка ею работал и он будет.

3

К самому пряслу Климова двора подходило колхозное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это хлебное поле и видел, как

рожь морилась жарою и умирала: малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли за-
мертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал
поднимать иссохшие хлебные былинки, чтоб они жили
опять, но они жить не могли и клонились, как сонные, на
спекшуюся горячую землю.



- Мама, – говорил он, – рожь от жары умаривается?
– Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и те-
перь нету, а хлеб не железный, он живой.
– А роса есть! – сказал Митя, – Она по утрам бывает.
– А чего роса! – ответила мать. – Роса сохнет скоро;
земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.
– Мама, а как же быть-то без хлеба?
– Незнамо, как и быть... Должно, помощь тогда будет,
мы в государстве живем.

– А лучше пусть в колхозе хлеб растет, пусть роса в землю проходит.

– Так бы оно лучше было, да хлеб без дождя не рождается.

– Он не вырастет большой, он спит маленький! – произнес Митя; он скучал о тех, кто спит.

Он пошел один домой, а мать осталась на пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил ее рукою – дедушка тоже, должно быть, гладил ее, – положил тяпку на плечо и пошел на колхозное озимое поле, что было за пряслом.

Там он стал рыхлить тяпкой спекшуюся землю промеж рядов уснувших ржаных былинки. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А еще ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная былинка проснется и будет жить.

Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелек тот сломался и поник.

– Нельзя! – вскричал Митя самому себе. – Ты что делаешь!

Он оправил стебелек, уставил его в землю и стал теперь мотыжить землю лишь посредине междурядья, чтобы не поранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней хлеба. Корни были усохшие, слабые. Мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупывал пальцами и разрыхлял почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его.

Митя работал долго и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинки.

Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учи-

тельницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у нее осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не горевала, что она калека; она всегда была веселая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая.

– Митя! Ты что тут копаешься? – спросила учительница.

– Хлеб пусть растет! – сказал Митя. – Я хлебу помогаю, чтоб он жил.

– Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!

– Он росу будет пить!

Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.

– Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?

– Не скучно, – сказал Митя.

– А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдем, и ты пойдешь...

Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил:

– Я маму все время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.

Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе:

– Ах ты милый мой! Какое сердце у тебя – маленькое, а большое!.. Знаешь что, ты тляпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!

И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тляпкой, а учительница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней.

На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна: с нею пришло семеро детей, учеников первого и

второго классов. Митя один уже работал деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю.



Солнце поднялось, роса уже сошла, и ветер с огнем дул по земле. Однако те ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.

– Они просыпаются! – обрадованно сказал Митя учительнице. – Они проснутся.

– Конечно, проснутся, – согласилась учительница. – Мы их разбудим!

Она увела учеников с собой, и Митя остался один.

«Мама пашет, и я хлебу расти помогаю, – думал Митя. – У учительницы одна рука только, а то бы она тоже работала».

Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб, – она сама стала работать одной рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы помочь им жить и расти.

РАДИЙ ПОГОДИН (1925-1993)



ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО

А были у него мать и отец.

Пес Яша свободной деревенской породы, и добрый, и злой.

Кошка Тоня с котятами.

Зорька – корова.

Васька – поросенок.

Десять простых овец.

Петух Петя с разноцветными курицами.

Изба высокая. А на окнах белые занавески.

Были у Сеньки огород с садом и деревня Малявино – тесовые крыши, насквозь пропахшая медом с окрестных лугов да горячими пирогами.

Все деревенские жители были Сенькиными.

Все птицы оседлые, все птицы пролетные, все букашки и золотые пчелы, вся лесная тварь и озерная, и та, что в реке, та, что в ручьях и болотах, по Сенькиному малолетнему разуму, жили-старались для него, Сеньки. И деревья, и неподвижные камни, и горячая пыль на дорогах. И небо. И солнце. И тучи.

За деревней, которую Сенька ощупал насквозь до последней щели в заборе, до оброненного случайно гвоздя, начинался другой мир – побольше Сенькиного. Сенька проникал в него только с самого края, возле деревни.

Большой мир лежал на большом пространстве, для Сеньки невидимом, поскольку перегораживали его большие леса, а за лесами, как говорят, земля загибалась. В большом мире все было большое: и деревни, и города, и реки. Наверно, деревья и травы тоже были побольше.

Катили оттуда на толстых колесах машины. Там паровозы гудели. Новый трактор, который недавно пригнали в Малявино, тоже происходил оттуда.

Из большого мира, случалось, маршировали солдаты. С громкими песнями сквозь деревню. Грудь у каждого – как бочонок, и на каждом всего навешано: и значков, и оружия. Сенька всякий раз маршировал с ними рядом.

Захлебывался от пыли и от восторга.

Когда войско проходило, унося свою шумную песню в другие деревни, задумывал Сенька поскорее расти. Только думал недолго – забывал быстро. Уйдет гулять по краю полей, ковырять кротовые рыхлые норы, или заговорит с петухом встречным и обо всем, о чем думал, забудет. Петух ему: «Ко-ко-ко»... И Сенька петуху: «Ко-ко-ко». И друг друга поймут. «Не лезь, – скажет петух, – Я зерно для своих куриц отыскиваю». – «А я и не лезу, – ответит Сенька. – Я только смотрю. Я тебя обижать не стану».

Сенька с кем пожелает, с тем и поговорит. С теленком – по-теленочьи, со скворцом – по-скворчиному. И по-

собачьи мог. И по-букашечьи. Даже шмелей понимал. Шмель к разговорам ленивый – некогда ему. Натужится, летит по-над самой травой из последних сил, словно вот сейчас упадет. Сенька прожужжит вдогонку шмелю по-шмелиному. Строго прожужжит: «Ж-ж-жу...» Мол, не жадничай – меду с цветков поменьше хватай, не то в иной день надорвешься от жадности. Вот как.

Устанет Сенька гулять, зайдет в любую избу.

– Здравствуйте. Дайте попить молочка. Мне до дому еще вон сколь идти, а я уже есть хочу.

– Садись, Сенька, – говорят ему люди-соседи. Молоко наливают в кружку. Отрезают мягкого хлеба или пирога – что найдется. Спросят: «Как живешь?» Еще и по голове погладят.

Поест Сенька, попьет и дальше направится. К старику Савельеву заглянет непременно.

– Дед Савельев, у тебя пчелы над ульями так и гудят – сердятся. Наверно, в ульях столько накопилось меду, что пчелам и посидеть уже негде... Дай медку полизать?

– А полижи, – скажет старик Савельев и нальет Сеньке меду на блюдечко.

Сенька и в сельмаг зайти может. В сельмаге ему пряник дают.

Один раз молодой тракторист Михаил подарил Сеньке в сельмаге четвертинку белого вина. Сенька ее принял очень серьезно. Домой отнес.

Сенькина мама изловила тракториста на улице.

– Леший! – кричала она. – Дурак последний! – кричала она. И запустила в трактористову голову подаренной четвертинкой. Тракторист поймал ее на лету и поблагодарил вежливо.

– Спасибо, – говорит, – за угощение.

Потом он дал Сеньке селедку. За селедку мамка ругалась тоже, но не выбросила – съели с луком.

– Ну и леший, – говорила она. – Ну и черт шальной.

Один раз Сенька даже к председателю заявился в гости.

Одинокого молчаливого председателя Сенька тоже определил туда, в большой мир. Председатель ходил под дождем и под солнцем без шапки. Сеньку по голове не гладил. «Как живешь?» – не спрашивал. Как-то раз только остановился над Сенькой, разглядел его с высоты и сказал:

– Долго будешь ходить в сопливых?

Сенька надулся, крикнул вверх, в председателево лицо:

– Мне и так хорошо!

Председатель наклонился, чтобы рассмотреть его с близкого расстояния.

– Хорошо, говоришь? Только зря ты так думаешь, будто тебе хорошо. По правде, тебе еще просто никак.

– Сам ты не знаешь, – возразил ему Сенька.

А когда в гости заявился, спросил прямо с порога:

– Ты чего ешь?

– А я не ем, – сказал председатель. – Я пью.

– А ты чего пьешь?

– Да вроде лекарство пью.

– Дай попробовать.

Председатель налил в ложку лекарства, совсем две капли.

– Ты не жалей, – сказал ему Сенька. – Ты мне налей в стакан.

Председатель почему-то лицом потемнел, стряхнул лекарство с алюминиевой ложки и ложку полотенцем вытер.

– Это лекарство невкусное, для грустных людей оно. А ты вон какой весельчак. Я тебе лучше конфету дам.

Сенька конфету схрустел вмиг. Оглядел избу, а жил председатель у одинокой бабки Веры за занавеской. Не накрепко жил, будто сам у себя был гостем.

– Так и живешь? – спросил Сенька.

– Так и живу.

Сенька потоптался возле стола, навздыхал, намигал

вправо-влево и уставился в белые половицы. Вместо прощания сказал:

– Ладно, я к тебе еще раз приду, – Но больше к председателю не заявлялся. А когда вспоминал председателево жилье за ситцевой занавеской, его словно холодом обдавало, словно ветер из многих щелей, а заткнуть-то их нечем. От такого сквозного ветра надобно бежать к мамке и, взобравшись к ней на колени, сидеть тихо, ощущая всем телом тепло и любовь.

Кроме деревни Малявино с окрестной пахучей землей, кроме большого мира с дорогами и лесами, был у Сеньки еще третий мир – «огромный». Сенька не видел его даже с краешка, но знал, что он где-то есть там, далеко-далеко.

В «огромном» мире все «огромное». Высоченные города с башнями. Широченные реки с пароходами. Сиение моря с каменными островами. И великие океаны, у которых нет ни конца, ни края, ни середины.

Огромного мира Сенька боялся. Он иногда думал: «Если уйти в такую даль, то как же меня отец с матерью докричатся?»

Всего один раз видел Сенька пришельца из того огромного мира не на картинках, не на белом светящемся полотне, а прямо над головой.

Сверкающий аэроплан пронесся над самой деревней. Рожь полегла. Березы и елки ходуном заходили. Озеро волной заплескало. И долго в ушах грохот стоял, а в глазах пелена. Старики вслед самолету шапки сняли. Бабки перекрестились. Мужчины и женщины говорили друг другу сморенными голосами:

– Ну-у, сила непобедимая. Ну, махина.

Парни грозили девушкам уйти в авиаторы. Девушки хохотали: мол, где вам самолетом рулить. «Эко, Чкаловы отыскались». Мальчишки и девчонки, которые постарше Сеньки, принялись мастерить самолет из дощечек, да у них ничего не вышло.



А Сенька просто растопырил руки, загудел губами и полетел... Он летел, задрал голову. Летел долго. И облака кружились над ним. Он их касался пальцами. Потом он споткнулся и упал в лужу, истоптанную жирными гусями.

Мать отшлепала его: явился – глаз не видать, грязный.

Мать частенько пощелкивала его и поругивала, хоть вся вина Сенькина являлась в его малолетстве. И наверно, поэтому в подзатыльниках материнских никогда не чувствовал Сенька зла – только любовь.

А иногда, даже слишком часто, поднимет его мать, притиснет к груди, словно хочет навечно прилепить его к своему телу. Задохнется Сенька – из глаз слезы.

– Ты, мамка, меня не тискай. Я от вас с отцом никуда не уйду.

Однажды, когда отец на заре ушел на покос, Сенька забрался к мамке в кровать и спит себе. У ребятешек возле мамки сон сладкий.

Мать погладила его по голове – разбудила.

– Сенька, спишь?

– Не, проснулся уже.

– Сенька, у тебя скоро брат будет. Хочешь?

– Хочу, – сказал Сенька. – Я его нянчить стану. – И опять уснул.

Мать опять говорит – будит.

– Вот и ладно, – шепчет, – Он тебя, Сенька, будет любить. – И поцеловала его горячими губами прямо в губы.

Мать оделась быстро, заставила Сеньку молока поест с остывшей ватрушкой и ушла на работу. Сенька со стола прибрал.

Он все думал, как станет брата нянчить, как станет его молоком поить из кружки и за руку водить по деревне и за околицу. Сенька хотел, чтобы мысли эти были веселыми, но они почему-то были другими. Так различаются облака весенние от осенних. И те, и те – белые. И те, и те по синему небу летят пушисто и тихо. Только от весенних облаков радость, а от осенних – другое.

Сенька поговорил с Яшкой-псом: мол, Яшка, скоро у меня брат будет. Пес на эти слова и внимания не обратил, знай себе скачет – пытается Сеньку лизнуть в нос.

– А когда брат будет, ты его лизать станешь, – проворчал Сенька и прогнал собаку ногой.

Вышел за ворота, старую бабку Веру увидел, всю в морщинах, как в платке вязаном.

– Бабка Вера, у меня брат будет.

– А ты чей такой, Савря?

– Я не Савря, я Сенька.

– Мне что Сенька, что Манька – все одно – Савря. Я ваше племя не различаю.

Такая старая бабка Вера. Не пожелал Сенька с ней больше беседовать. Пошел к деду Савельеву.

– Дед Савельев, у меня скоро брат будет.

– Доброе дело, – сказал дед Савельев.

– Да, а когда брат будет, ты ему мед давать станешь?

– А как же, – сказал дед.

– А он у тебя весь мед слижет! – крикнул Сенька и убежал.

Встретил председателя.

– У меня брат будет.

– Ага, – сказал председатель, – Подпирает тебя жизнь снизу. Значит, теперь ты быстрее станешь расти.

– А я не хочу, – заревел Сенька. И вдруг понял, что не нужен ему этот брат. И никто ему больше не нужен. Все у него есть, и ни с кем он этого делить не желает. Ни мамку свою, ни отца, ни деревню Малявино, ни соседей, ни дорожек прохоженных. И шмелей толстобрюхих, и петухов, и червяков дождевых, и дождевых теплых капель...

Есть в деревне ребятишки, конечно, еще помладше Сеньки, но с ними он ничего не делит. Они со своим родились со всем. Все у них есть свое. А вот брат... Чувствовал Сенька, не понимал еще – только чувствовал, что с братом либо делить придется, либо все отдать ему целиком. Жадным Сенька никогда не был, но стало ему тоскливо от таких мыслей.

Ночью на деревню навалилась гроза. Она ходила по крышам, ломилась в окна и так лютовала, словно понадобилось ей со злости весь Сенькин знакомый мир спалить.

Отец покурить вышел в сени, а когда вернулся, сказал:

– Худо, у которых крыши в такую грозу не нашлось. Слышишь, Сенька, какая буря за дверью, аж земля скрипит.

Сенька понял эти слова по-своему: мол, живет без людей маленький брат. Ни отца у него, ни матери, ни дома своего, ни собаки. Сидит один где-нибудь, весь промокший-прозябший.

– Ну уж несите его, что ли, – сказал Сенька.

– Кого?

– Брата этого. Ему под дождем худо.

Отец с матерью переглянулись. Мать закашлялась в подушку. Отец поколупал ногтем известку на печке, как это иногда Сенька делал.

– Он еще не поспел, – сказал отец.

– Мамка говорит – брат будет. А ты говоришь – не поспел.

– Будет-то – будет, но еще не сегодня.

– А когда будет?

– Может, месяца через полтора.

– А где будет?

Мать с отцом снова переглянулись.

– А в капусте, – сказал отец. – Ребятишки все больше в капусте бывают.

С этого дня Сенька начал ходить в капусту. Все капустные кусточки облазит, они еще не свернулись кочнами, только слегка завиваются в самой середине. Как найдет Сенька завиток потолще, думает, вот он, здесь притаился. Расколупает, а там ничего – одна зелень. День и еще день, а за ними следующий.

Другие заботы отвлекли, наконец, Сеньку от капустных грядок: черника поспела, малина, грибы пошли. Капуста тем временем завилась в тугие кочны, а когда утолстилась, потяжелела, Сенькиной матери понадобилось поехать в соседнюю большую деревню Засекино по колхозным делам.

И на тебе: приезжает она оттуда, отец ее встречать на лошади отправился, вылезает из коляски, а у нее на руках пищит.

– Где взяли? – спросил Сенька сразу.

Смеется мамка:

– В капусте.

– На чужой огород ходила? В нашем нигде его не было.

– Он на колхозном был, – сказал отец. – Мы с мамкой из Засекина ехали, глядим – он в колхозной капусте лежит.



Сенька съежился, пробормотал:

– Колхозная капуста вон где, а Засекино вон где. Нарочно крюк дали. Не могли прямо домой идти.

– Эх, не могли, – сказал отец. И увел Сеньку гулять по деревне. Сам рассказывает, где что будет, какие новые избы, какие амбары и сараи, а сам думает о другом. Сенька вытянул руку из отцовой ладони, сунул в карман. Идет чуть поодаль, руки в карманах, голова на сторону, и ноги в новых ботинках – отец из Засекина новые ботинки в подарок привез.

Встречные соседи спрашивают:

– Ну, кто?

Отец отвечает:

– Дочка.

Соседи Сеньку не спрашивают: «Как живешь?» Только мимоходом проведут по голове пальцем и еще щелкнут. Сенька голову в плечи втягивает, чтобы не касались.

- Девочка.
- Дочка.
- Красавица.
- Барышня.
- Хорошенькая небось?
- Голубоглазенькая небось?
- В мамку.
- В папку.

«Говорили – брат, – думает Сенька рассеянно. – А во-все сестра. И не в мамку она, и не в папку. А вовсе еще никакая – нахалка».

– Будет у нас в деревне еще одна девушка, – улыбаются люди-соседи. – А то все парни да парни.

– Когда много парней нарождается, говорят: к войне.

– Дочка хорошо. Хозяйке – помощница.

– Дочка в дом – тепло в дом.

«Нам и без нее тепло было – не простужались», – думает Сенька.

Председателя встретили. Он ни о чем не спросил, он все знал сам. Поговорили они с отцом о колхозном деле.

– Сенька-то у тебя возмужал, – сказал председатель вдруг. – Все шкетом был, а сегодня, смотри, мужик.

От этих слов Сенька сразу озяб. Почувствовал он в них скрытый смысл, – вроде он теперь сам по себе. Пахнуло от этих слов на Сеньку дорожной холодной волей. С поля близкого – ветер теплый. С лесу, что за деревней, – ветер влажный. С дороги проезжей – холодный ветер.

Мамка в доме ходила тихая, легкая. Смотрела поверху, а если останавливался ее взгляд, то на белом сверточке с кружевами, из которого доносилось дыхание. Мамкины губы складывались колечком, и на бледных щеках зажигался румянец.

– Сенька, – сказала она, – ты тут не вертись и не топай.

А Сенька и не вертелся. Он сидел в уголке за кроватью на низкой скамеечке, которую ему отец сделал давно-

давно и которую пес Яша прогрыз, когда был совсем маленьким пузатым щенком. Думал Сенька о том ветре, с дороги, которыйдохнул на него сегодня.

«Я теперь из дому уйду, – думал Сенька. – Буду один жить. Может, в деревню Засекино пойду. А может, к дальнему морю, в огромный город, где делают аэропланы. Пусть отец с матерью без меня будут, со своей дочкой».

Сенька неслышно вылез из-за кровати, послонялся на цыпочках вдоль стен. Увидел на кухне квашню с тестом – мамка, наверно, ватрушку печь собирает. Засучил Сенька враз рукава, стал тесто месить.

– Вот увидишь, какой я у тебя, – бормотал Сенька. – Я не то, что эта нахалка, – спит и спит. Я сейчас тесто замешу, а надо – так и ватрушку испеку...

Почувствовал Сенька шлепок по затылку. Повернул голову – над ним стоит мамка бледная.

– Это что же ты делаешь? – схватила его за руку у самого плеча, больно стиснула. Подвела к зеркалу. Сенька сам себя не узнал – стоит в зеркале белый человек из теста, глазами лупает. А на полу под ним белая клейкая лужа.

– Ты зачем мне по затылку дала? – спросил Сенька, чтобы не реветь.

– А вот за это, – сказала мамка.

В комнате девчонка заплакала. Мать бросила Сеньку, только крикнула:

– Иди сейчас же, мазурик, к ручью, отмывайся!

Сенька пошел к ручью. Соскоблил с себя тесто, отмылся. Рубаху выстирал, штаны выстирал. Надел на себя, чтобы быстрее сохло. А пока обсыхал на траве под солнцем, все думал: как же теперь ему быть? И надумал...

Наверно, с неделю Сенька жил затаившись.

Однажды, когда мать пошла к соседке, а девчонка спала на большой кровати, обложенная подушками, Сенька завернул ее в одеяло, взял на руки и понес.

У него уже все приготовлено было: и дырка в заборе проделана, и дорожка разведана.

Сенька принес девчонку в огород к молодой тетке Любе через два дома. Положил среди крупных капустных кочнов. Оправил одеяло, чтобы красивее. Прикрыл лицо капустным листом, чтобы, когда проснется, солнце не опалило бы ей глаза. Постоял безмолвно и строго. Потом сказал:



– Лежи, дожидайся. Моя мамка по ошибке тебя нашла, а теперь будет не по ошибке.

Сенька погулял немного по ближнему к деревне лугу, побродил по озеру в мелком месте и пошел домой.

Он вошел прямо в плач. Народа в избе полно, и отец, и соседи. Глаза у мамки ручьями текут.

Когда разглядели Сеньку, тихо стало. И в тишине отец шепотом спросил:

– Где она?

Мамка крикнула:

– Куда ты ее подевал?! – И вдруг обхватила руками Сенькину голову. – Куда ты ее дел? – И прижала Сеньку к себе. – Ну, скажи! Ну, скажи? – Она торопила его, слишком быстро произнося ласковые слова.

– Не нужна она нам, – сказал Сенька.

Снова стало тихо.

– С ней ничего не случилось? – спросила мать, будто крадучись.

Сенька отодвинулся от нее.

– Ничего не случилось, – сказал он, – Лежит себе. Новую мамку дожидается.

– Где лежит? – крикнула мать. – Говори, стервец, где лежит?

«Наверно, драть будут», – подумал Сенька.

– А зачем тебе двое ребят, когда у других ни одного нет. Ты меня люби, а ее пускай тетка Люба любит. Тетка Люба одна была, теперь будут вдвоем.

Мать снова обхватила Сенькину голову, принялась его гладить.

– Ты ее к тете Любе в избу отнес?

Почувствовал Сенька, что гладит она его не для ласки, а для обмана.

– Не скажу! – крикнул Сенька.

Отец взял его за руку, вывел из дома.

– Ты куда ее подевал?

– А в капусту. Наверно, тетка Люба ее нашла уже. Теперь она тетки-Любина!

Отец пошел от Сеньки быстрым шагом. Потом побежал.

– Беги! Беги! Все равно тетка Люба ее нашла. Она теперь тетки-Любина! – крикнул Сенька и засмеялся.

Навстречу отцу спустилась с крыльца красивая молодая тетка Люба – соседка. Она держала на руках девочку. Отец к девчонке бросился, но тетка Люба его рукой от-

странила. Они постояли, почмокали над девчонкой губами и пошли к Сенькиной избе. Отец шел, посмеивался. Тетка Люба прижимала девчонку к груди и тоже посмеивалась.

«Сейчас тетка Люба скажет мамке, что дочка теперь ее, тетки-Любина». Сенька спрятался за собачью будку, ждет.

Соседка, красивая тетка Люба, вышла из дома одна. Без девочки. Другие соседки тоже вышли. Они все говорили громко. Лица у всех были от улыбок круглые.

– Вот ведь мазурик, – говорили они.

– Вот ведь чего надумал, – говорили они.

– Надавать ему по теплomu месту, – говорили они.

Сенька штаны подтянул. Птицы оседлые, птицы пролетные, звонкие букашки в траве, тихие букашки в траве словно отодвинулись от него, словно напoлзла тень, словно попряталось все.

– Пора уходить, – сказал себе Сенька. – Теперь я для них совсем лишний. – Сенька посмотрел на свои босые ноги. Подумал: хорошо бы в ботинках уйти, в новых – дорога дальняя. Но в избу заходить не решился и отправился как был: с простой головой и на босых ногах.

Сперва он к дедке зашел, к Савельеву.

Дед на гармoни играл про маньчжурские сопки. В гармошкиных мехах дальний ветер рыдал. Дед слушал свою музыку и будто сам себе удивлялся. А на полу лежали вповалку деревянные грабли дедовой аккуратной работы.

– Дед, дай мне краюшку хлеба и еще котомку, – попросил Сенька.

– Или куда направился?

– Пойду в огромный город, где делают аэропланы. Там буду.

Дед закончил музыку, завернул гармошку в ситец и спрятал ее в комод.

– У российских людей такая доля – ходить. – Отрезал дед хлеба край, меду нацедил в баночку, сложил этот припас в узелок, к палке приладил струганой и сказал Сеньке: – Ступай.

– Дед, я никогда не вернусь. Прощайте.

– А человек никогда обратно не возвращается, – сказал дед. – Воротится человек, глянешь, а это уже другой человек. А если таким же воротится – глянет, а место, из которого он когда-то вышел, уже другое. Этого, Сенька, многие не понимают, потому и рвутся назад и страдают от своей ошибки. А ты пойми – ну, не может человек ни жить по-вчерашнему, ни думать.

Вышел Сенька от деда Савельева. Постоял на крыльце, попрощался с деревней. Поглядел и на свой дом, а что глядеть – это уж другой дом, не тот, в котором мальчишка Сенька радостно проживал. Другие в этом доме разговоры теперь, другое тепло и другие заботы.

Пошел Сенька.

На дороге петуха встретил.

Петух ему вслед по-петушиному: «Ко-ко-ко...» Сенька обернулся. Стало ему удивительно – не понял Сенька по-петушиному.

– Прощай, – сказал Сенька.

Уже за деревней встретил он привязанного к березе теленка – бычка.

«Му-у-у...» – сказал теленок.

И по-теленочьи Сенька не понял. Он понял другое: веревка, которой теленок привязан, вся в узлах, значит, обрывал ее теленок не один раз. Тесно теленку возле березы, всю траву поел, истоптал. Хочется теленку побежать на простор.

– А нельзя, – сказал Сенька. – Потому и привязали, чтобы рожь не портил. А ты и в болото залезть можешь – беда с тобой.

Теленок тоже Сеньку не понял. Теленок понимает одно – на воле побегать, с другими бычками пободаться.

– Глупый, – сказал ему Сенька, – Тебя в стадо определить нужно в колхозное. И всех хозяйских телят. Небось не объедите колхоз-то, – Он погладил широкий теленочий лоб, почесал бугорки-рога.

Теленок в ответ ресницами помигал, ухватил Сенькин рукав губами.

– Ишь ты, совсем еще сосунок, – сказал ему Сенька, – Расти быстрее.

Пошел Сенька дальше по своей незнакомой дороге.

Гороховый клин на пригорке – как нечесаная голова.

«Горох-то возле деревни посеять надо, чтобы ребятишкам за стручками бегать короче», – подумал Сенька и тут же себя одернул.

Где проселок пустил отвилку в поля, новый стоит трактор. Молодой тракторист Михаил побежал в деревню, наверно. Попить молока. А может быть, мимо поля прошла Сенькина соседка – красивая тетка Люба. И тракторист пошел с ней. Целоваться. И пускай целуются. И снова Сенька себя одернул: мол, не мои теперь это заботы.

Сел Сенька возле трактора, прислонился спиной к колесу. От трактора идет неживое тепло и машинный горький дух.

– Эх, – сказал Сенька. – Ты вот стоишь, а я иду. Тебе все равно, что день, что ночь, что этот год, что другой.

Трактор в ответ молчит, а кругом перекликается все живое.

– Молчишь, – сказал Сенька, – Молчи. Захочешь поговорить со мной, а не будет меня, – Пнул Сенька трактор ногой по железному колесу и пошел дальше, прихрамывая.

Сенька уже целый час прошагал. В том месте, где дорога раздваивалась, чтобы попасть одной отвилкой в большую деревню Засекино, другой отвилкой в город, нагнал Сеньку председатель колхоза. Ехал он в конной коляске.

– Здорово, мужик, – сказал председатель. – Куда путь держишь?

– А вы куда? – спросил Сенька.

– Я в Ленинград. Я навсегда, – сказал председатель. – Я

человек заводской. Я сюда временно присланный. Все, что мог, сделал, а больше не умею. Теперь твой отец будет колхозом руководить.

– А чего ж не умеете? – спросил Сенька.

– Так ведь человек должен что-то одно уметь по-настоящему. Один с землей обращаться, другой с металлом, третий, предположим, с наукой. А когда человек все умеет, это вроде красиво, но несерьезно. Он – как букет...

– В этом месте председатель вздохнул и добавил: – Только для глаза красиво, но завянет он скоро и не даст семя. А живой цветок, может, и неприметный среди других, из года в год цветет – и от него другие цветы нарождаются. Не срезанный он потому что... Так куда ж ты идешь? – спросил председатель.

– В огромный город, где строят аэропланы.

– А дорогу-то знаешь?

– Найду, – сказал Сенька храбро.

– Ты, чтобы не плутать, вот на этот бугор залезь. С него далеко видно. Вот ты с него и прицелься.

– Ладно, – сказал Сенька. Показалось ему, что в председателевых словах есть правда. Когда председатель отъехал и уже не стало его видно, Сенька свернул с дороги на тропку, что вела к большому бугру над озером.

Полез Сенька на бугор, нагибается низко, в иных местах даже на четвереньках лезет, чтобы не опрокинуться.

Слышал Сенька, что стоит бугор здесь с давних времен и оттого он такой крутой и ровный, что насыпали его руками. Что раньше было на нем поселение. Проживали за толстыми стенами, сложенными из бревен, древние солдаты, по названию богатыри. Охраняли от врагов эту землю и сами ее пахали.

До бугра Сенька за свою жизнь ни разу не добирался и ни разу на него не всходил.

Поднимается Сенька все выше. А земля становится все шире. А когда Сенька поднялся на самый верх, стало ему далеко видно вокруг.



И сомкнулся тогда Сенькин мир малый с большим миром и огромным, так как земля Сенькина уходила вдаль на необъятные расстояния.

Много на земле оказалось дорог, бежали они вдоль полей и бугров, уходили в леса и снова из лесов выходили.

Видел Сенька большую деревню Засекино с колокольней и другие деревни, в которых не был ни разу и даже названий не знал.

А своя деревня Малявино лежала перед Сенькой вся открытая.

Теленок от березы оторвался, убежал в колхозную рожь и скакал в ней, обалдев от свободы. Трактор уже поле пахал. И рядом с молодым трактористом Михаилом сидела на тракторе красивая тетка Люба.

Вокруг разноцветные поля простирались. Где что поспело, овес ли, гречиха, у каждого свой цвет. А где еще доцветало голубым и розовым. Под бугром красный клевер, сверху плотный, как бархат. Березы-тонконожки у озера. Темный орешник. Бледная, как зеленый дымок, малина на старом пожарище возле болота.

Деревенские жители – кто на лошади сено возит, кто граблями работает, кто с коровами. Всех сверху увидел Сенька. И поезд увидел, что за лесом.

Увидел еще своего пса Яшу – скучный лежит возле будки – почуял Сенькино отсутствие. Некого ему в нос лизнуть, некому показать свою верность.

На верхушке бугра, некоторые Сеньке по пояс, некоторые до плеч, торчали в траве да во мху каменные кресты старинные – жальники – память о древних пахарях-воинах, которые подняли эту землю первыми.

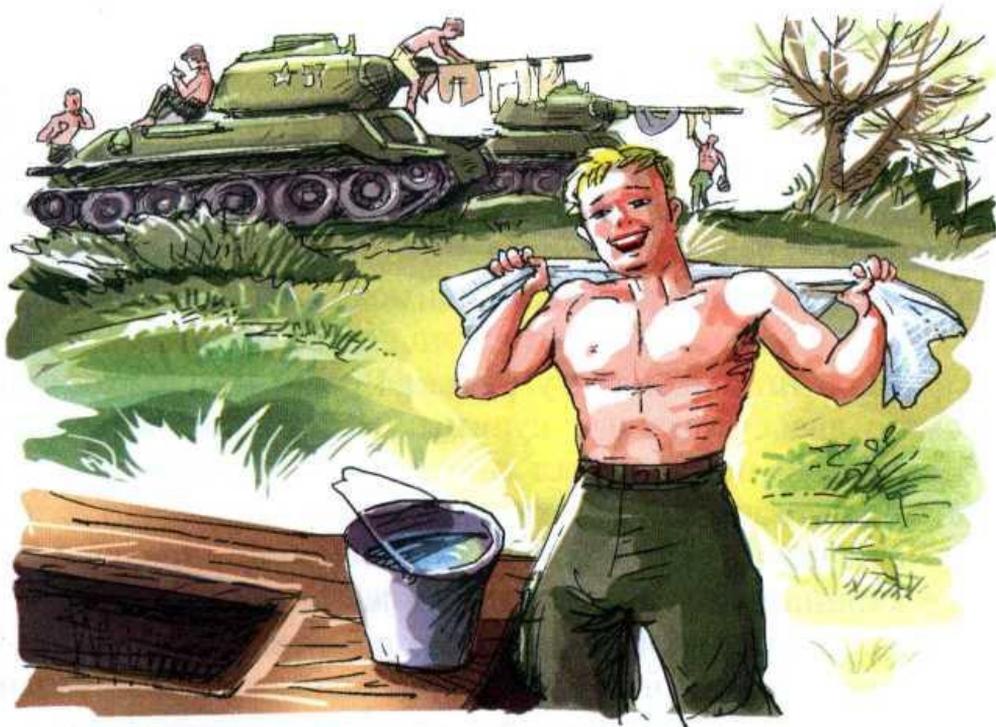
От своей земли, от ее прекрасного широкого вида почувствовал Сенька в сердце тепло.

«Ух ты, – подумал он, – куда от такой земли уйдешь, если она моя. И мамка моя, и отец, и сестренка, и все люди-соседи, и птицы пролетные, и птицы оседлые – все

мои. И старый дед Савельев, и совсем старая бабка Вера. Потому мои, что я ихний». Подумал Сенька еще, что делить это ему ни с кем не нужно – неделимое оно. У каждого оно свое, хоть и одно и то же.

Долго стоял на бугре Сенька среди изъеденных годами старинных крестов.

– И кресты мои, – сказал он.



ПОСЛЕВОЕННЫЙ СУП

Танкисты оттянулись с фронта в деревушку, только вчера ставшую тылом. Снимали ботинки, окунали ноги в траву, как в воду, и подпрыгивали, обманутые травой, и охали, и хохотали – трава щекотала и жгла их разопревшие в зимних портянках ступни.

Стоят танки «тридцатьчетверки» – на броне котелки и верхнее обмундирование, на стволах пушек – нательная бумазая. Ковыляют танкисты к колодцу – кожа у них зудит, требует мыла. Лупят себя танкисты по бокам и гогочут: от ногтей и от звучных ударов на белой коже красные сполохи.

Облепили танкисты колодец – ведра не вытащить. Бреются немецкими бритвами знаменитой фирмы «Золлинген», глядятся в круглые девичьи зеркальца.

Одному танкисту стало невтерпеж дожидаться своей очереди на мытье, да и ведро у него было дырявое, он

опоясался полотенцем вафельным и отправился искать ручей.

В оставленные немцем окопы струйками натекает песок, он чудесно звенит, и в нем семена трав: черненькие, серенькие, рыжие, с хвостиками, с парашютами, с крючочками. И просто так, в глянцевитой кожуре. Воронки на теле своем земля залила водой. И от влажного бока земли уже отделилось нечто такое, что само оживет и даст жизнь быстро сменяющимся поколениям.

Мальчишка сидел у ручья. Возле него копошили землю две сухогрудые курицы. Неподалеку кормился бесхвостый петух. Хвост он потерял в недавнем бою, потому злобно сверкал неостывшим глазом и тут же, опечаленный и сконфуженный, стыдливо приседал перед курицами, что-то доказывая и обещая.

– Здорово, воин, – сказал мальчишке танкист.

Мальчишка поднялся, серьезный и сморщенный.

Покачнулся на тонких ногах. Он был худ, худая одежда на нем, залатанная и все равно в дырах. Чтобы укрепить свое взрослое положение над этим жидконогим шкетом, танкист щедро повел рукой и произнес добрым басом:

– А ты гуляй, малый, гуляй. Теперь не опасно гулять.

– А я не гуляю. Я курей пасу.

Танкист воевал первый год. Поэтому все невоенное казалось ему незначительным, но тут зацепило его, словно он оцарапался обо что-то невидимое и невероятное.

– Делать тебе нечего. Курица червяков ест. Зачем их пасти? Пусть едят и клюют, что найдут.

Мальчишка отогнал куриц лозинкой от ручья и сам отошел.

– Ты, может, меня боишься? – спросил танкист.

– Я не пугливый. А по деревне всякие люди ходят.

Петух косил на танкиста разбойничьим черным глазом, – видать, лихой был когда-то; он шипел и грозился, и отворачивал свой горемычный хвост, готовый, чуть что, уносить свое мясо и летом, и скоком, и на рысях.

– Мужики – они все могут есть, хоть ворону съедят. А у Маруськи нашей и у Сережки Татьяниного ноги свело от рахита. Им яйца нужно есть куриные... Тамарку Сучалкину кашель бьет – ей молока бы...

Маленький был мальчишка, лет семи-восьми, но танкисту внезапно показалось, что перед ним либо старый совсем человек, либо великан, не поднявшийся во весь рост, не раздавшийся плечами в сажень, не накопивший зычного голоса от голодных пустых харчей и болезней.

Танкист подумал: «Война чертова».

– Хочешь, я тебя угощу? У меня в танке пайковый песок есть – сахарный.

Мальчишка кивнул: угости, мол, если не жалко. Когда танкист побежал через луговину к своей машине, мальчишка крикнул ему:

– Ты в бумажку мне нагребь. Мне терпеть будет легче, а то я его весь слижу с ладошки и другим не достанется.

Танкист принес мальчишке сахарного песку в газетном кульке. Сел рядом с ним подышать землей и весенними нежными травами.

– Батька где? – спросил он.

– На войне. Где же еще?

– Мамка?

– А в поле. Она с бабами пашет под рожь. Еще позалетным годом, когда фашист наступал, ее председателем выбрали. У других баб ребятишки слабые – они их за юбку держат. А у нас я да Маруська. Маруська маленькая, а я не капризный, со мной свободно. Мамке деда Савельева дали в помощники. Ходить он совсем устарел. Он погоду костями чувствует. Говорит, когда пахать, когда сеять, когда картошку садить. Только ведь семян все равно мало...

Танкист втянул в себя густой утренний воздух, уже пропитавшийся запахом танков.

– Давай искупнемся. Я тебя мылом вымою.

– Я не грязный. Мы из золы щелок делаем – тоже моет. А у тебя духовитое мыло?

– Зачем? У меня мыло солдатское, серое, оно лучше духовитого трет.

Мальчишка вздохнул, вроде улыбнулся.

– У духовитого цвет вкусный. Я раз целую печатку украл у одного тут, у немца. Неразвернутую еще. Отворотил бумажку – лизнул даже. Вдруг сладкое. Маруська, так она его сразу в рот. Маленькая еще, глупая.

Танкист разделся, вошел в холодный ручей.

– Снимай одежду, – приказал он. – В ручей не лезь – промерзнешь. Я тебя стану поливать.

– Я не промерзну. Я привыкший. – Мальчишка скинул рубаху и штаны, полез в ручей спиной вперед – хрупкогрудый, ноги прямо из спинных костей без круглых мальчишеских ягодичек, широко расставленные, и руки такие же – синюшные, ломкие и красные в пальцах.

Танкист высадил его обратно на берег.

– Совсем в тебе, парень, нет весу. Ни жирины. Холодная вода – простудит тебя такого насквозь. – Он плеснул на мальчишку из пригоршни, вторично зачерпнул воды да и выпустил ее – впалый мальчишкин живот был стянут струпьями.

– Ты не бойсь. Это на мне не заразное. – Мальчишкины глаза заблестели обидой, в близкой глубине этих глаз остывало что-то и тонуло, тускнея. – Я живот картошкой спалил...

Танкистдохнул, будто кашлянул, будто захотелось ему очистить легкие от горького дыма. Принялся осторожно намыливать мальчишкины плечи.

– Уронил картошку?

– Зачем же ее ронять? Я пусторукий, что ли? Я картошку не выроню... Фронт еще вон где был, вон за тем бугром. Там деревня Засекино. Вы, наверно, по карте знаете. А в нашем Малявине было ихних обозов прорва, и автомобилей, и лошадей с телегами. А немцев самих! Дорога от них зеленая была – густо бежали. Вон, где сейчас

танк под деревом прячется, два немца картошку варили на костерке. Их кто-то позвал. Они отлучились. Я картошку из котелка за пазуху...



– Ты что, сдурел?! – крикнул танкист, растерявшись. – Картошка-то с пылу!

– А если она с маслом? У нее помереть какой дух... Плесни мне в глаза, мыло твоё шибко щиплет. – Мальчишка глядел на танкиста спокойно и терпеливо. – Я под кустом с целью сидел – может, забудут чего, может, недоедят и остатки выбросят... Я тогда почти всю деревню пешком прошел. Бежать нельзя. У них, как бежишь, – значит, украл.

Танкист месил мыло в руках.

– Все мыло зазря сомнешь. Давай я тебе спину натру, – Мальчишка наклонился, зачерпнул воды, промыл глаза, – Я у немцев много чего покрал. Один раз даже апельсину украл.

– Ловили тебя?

– Ловили.

– Били?

– А как же. Меня много раз били... Я только харчи крал. Ребятишки – маленькие: Маруська наша, и Сережка Татьяна, и Николай. Они – как галчата: целый день рты открытые. И Володька был раненый – весь больной. А я над ними старший. Сейчас с ними дед Савельев сидит. Меня к другому делу приставили – курей пасу.

Мальчишка замолчал, устал натирать мускулистую, широченную танкистову спину, закашлялся, а когда отошло, прошептал:

– Теперь я, наверно, помру.

Танкист опять растерялся.

– Чего мелешь? За такие слова – по ушам.

Мальчишка поднял на него глаза, и в глазах его было тихое неназойливое прощение.

– А харчей нету. И украсть не у кого. У своих красть не станешь. Нельзя у своих красть.

Танкист мял мыло в кулаке, мял долго, пока между пальцами не поползло, – старался придумать подходящие к случаю слова. Наверно, только в эту минуту понял танкист, что и не жил еще, что жизни, как таковой, и не знает, и где ему, скороспелому, объяснять жизнь другим.

– Вам коров гонят и хлеб везут, – наконец сказал он. – Фронт отодвинется подальше – коровы и хлеб сюда придут.

– А если фронт надолго станет?.. Дед Савельев говорит – лопуховый корень есть можно. Он сам в плену питался, еще в ту войну.

Танкист вытер мальчишку вафельным неподрубленным полотенцем.

– Не людское дело – лопух кушать. Я покумекаю, потолкую со старшиной, – может, мы вас поддержим из своего пайка.

Мальчишка, торопясь, покрутил головой:

– Не-е... Вам нельзя тощать. Вам воевать нужно. А мы как-нибудь. Бабка Вера – она совсем старая, почти неживая уже – говорит, солодовая трава на болотах растет – лепешки из нее можно выпекать, она пыхтит, будто с закваской. Вы только быстрее воюйте, чтобы те коровы и тот хлеб к нам успели. – Теперь в мальчишкиных глазах, потемневших от долгой тоски, светилась надежда.

– Мы постараемся, – сказал танкист. Он засмеялся вдруг невеселым натянутым смехом. – Зовут тебя как?

– Сенька.

На том они и расстались. Танкист отдал мальчишке обмылок, чтобы он вымыл свою команду: Маруську, и Сережку, и Николая. Танкист звал мальчишку поестъ щей из солдатской кухни – мальчишка не пошел.

– Я сейчас при деле, мне нельзя отлучаться.

Курицы тягали червяков из влажной тихой земли.

Петух бесхвостый, испугавшись танкистова шага, совсем потерял голову и, вместо того чтобы бежать, бросился прямо танкисту под ноги.

– А ты, чертов дурак, куда прешь? – закричал на него танкист.

Петух окончательно осатанел, долбанул танкиста в сапог, свалился и закричал диким криком, лежа на крыле, – крик этот был то ли исступленным рыданием, то ли кому-то грозил петух, то ли обещал.

Возле танков – может быть, запах кухни тому виной, может быть, петушиный крик – пригрезился танкисту дом сытный, с кружевными занавесками, веселая краснощекая девушка и послевоенный наваристый суп с курятиной.

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН (1938-2020)



ТАКАЯ БЫЛА ПЛАНЕТА

Дом был совсем новый. Стены в коридоре еще пахли краской. А перила у лестницы были гладкие-гладкие. И блестящие. Они будто изо всех сил просили, чтобы кто-нибудь по ним прокатился.

Из квартиры на четвертом этаже вышел мальчик. Дверь за ним захлопнулась. Мальчик оглянулся на дверь, потом посмотрел вниз. На лестнице и на площадках было пусто, и наконец-то он мог выполнить просьбу перил!

Мальчик лег на них животом и оттолкнулся пяткой от ступеньки. Но перила его обманули. Они только казались гладкими, а скользить по ним было нельзя. Они прилипли к животу, и живот чуть не свернулся набок, а рубашка смялась и выбилась из-под широкой поясной резинки. Кроме того, он крепко стукнулся о железные прутья перил ногой.

Но это лишь на секунду огорчило мальчика. Он поболтал ногой, чтобы разогнать боль, рывком сунул под резинку рубашку и запрыгал вниз: пять ступенек на левой ноге, пять – на правой. А потом – бегом, через три ступеньки.

Но не думайте, что он был совсем беззаботен. Беспкойство все-таки шевельнулось в нем, когда он допрыгал до нижней площадки. И прежде чем выйти из подъезда, мальчик быстро и настороженно оглядел двор.

Но опасности он не заметил. Солнечный двор был почти пуст. Лишь худой рыжеусый дворник, еще незнакомый, беспорядочно хлестал из шланга по асфальту, по одинокой, недавно сделанной клумбе и даже по глиняной куче, которую не успели вывезти после окончания стройки.

Пятиэтажный дом был построен в виде буквы «П». Ножки этой буквы соединял узорчатый бетонный забор с воротами. Мальчик зашагал к воротам. Струя из шланга со стремительным шипением пронеслась по асфальту поперек его пути. Мальчик почувствовал на ногах холодные уколы брызг. Он замедлил шаги, но струя, пропуская его, взметнулась до окон второго этажа.

Мокрая полоса на асфальте отливала синим с солнечными искрами блеском. Мальчик с удовольствием прошлепал по ней, а потом оглянулся на ходу. Он любовался следами. Следы тянулись за ним ломаной цепочкой. Четкие, рубчатые, красивые. Потому что на ногах у мальчика были новенькие кеды с нестершимися подошвами. Отличные кеды тридцать второго размера, марка «две монеты», синие с белыми шнурками и отделкой.

Мальчик радовался им уже второй день: это была настоящая обувь! Не то что хлипкие сандалеты из красных ремешков, похожие на женские босоножки...

Следы становились бледнее и бледнее, но мальчик все еще шел, глядя назад, через плечо. Поэтому он увидел свой портрет, когда уже наступил на него.

Это был плохой портрет. Просто издевательский. Его нарисовали мелом на асфальте. Похоже нарисовали. Но на всякий случай наверху над рисунком было написано: «Вовка – бедная головушка». А внизу – короче и понятнее: «Вовка – дурак».

«Ну вот, – с тоской подумал Вовка, – теперь она уже где-то пронюхала, как меня зовут».

Он остановился над портретом и попробовал сунуть в карманы кулаки. Но это не удалось: накладные кармашки на штанах были мелкие и тесные. Вовка заложил руки за спину, оглянулся и громко сказал:

– Ладно, жаба! Ты мне попадешься.

Но он знал, что это ерунда. Как бы он сам не попался!

У нее были рыжие дерзкие глаза и почти мальчишечья светловолосая прическа: сзади волосы были подстрижены коротко, а спереди остался длинный чуб. Он часто падал на глаза, и девчонка сердито мотала головой. Наверно, ей это нравилось – так резко и зло отбрасывать назад волосы.

Первый раз Вовка увидел ее четыре дня назад. Он вышел во двор, чтобы как следует осмотреть новые места. День был серый и холодный, и казалось, что лето уже не вернется. А девчонка стояла у ворот в одном платице и, скрестив руки, смотрела, как зеленый автокран усаживает в широкую яму большой вздрагивающий клен. Белое с разноцветными клетками платье билось на ветру, как оторванный парус. И растрепанные волосы то взлетали, то падали на лоб девчонки.

Вовка стоял и смотрел на нее. Она его тоже увидела. Сначала взглянула просто так, а потом вдруг вытянула вниз руки, сцепила пальцы, склонила набок голову и состроила удивленно-жалобную гримасу.

Это она его изобразила!

Вовка был тогда в длинных школьных штанах с просторными карманами. Кулаки в этих карманах помещались отлично. Вовка сунул их поглубже и шагнул вперед. Он считал, что это выглядит грозно.

...Девчонка перестала дразниться, но не двинулась с места. Только сжала маленькие острые и, наверно, очень твердые кулаки и насмешливо сощурилась. Она ничего не сказала, но весь ее вид говорил: «Ну-ка подойди»...

Вовка не подошел. Он понял, что, если подойдет, будет драка. А драться он не любил. Вернее, не умел. Взрослые с удовольствием говорили: «Мягкий характер». Мальчишки про его характер говорили без удовольствия, но колотили Вовку редко: не было интереса. Так он дожил до девяти лет, а драться не научился. Про свой мягкий характер Вовка думал с ненавистью. Но что он мог сделать? Ведь характер – не сандалеты из красных ремешков: его не изорвешь и не выбросишь раньше срока...

А девчонка вела себя нахально. Каждый день рисовала на асфальте Вовкины портреты. Она изображала его с жалобным лицом, испуганными глазами и уныло повисшими ушами. Уродливо, но похоже.

А увидев Вовку, она бросала мел, поднималась и ждала. «Ну, давай, давай подходи», – говорили рыжие насмешливые глаза.

Вовка поворачивался и уходил домой или на улицу.

...Вовка плюнул на рисунок и перешагнул через него. Девчонки не было видно, и он не чувствовал обычной робости. Но настроение, конечно, стало не таким веселым. И чтобы оно не испортилось совсем, Вовка решил дать клятву. Правда, позавчера и вчера он уже давал себе такие клятвы, но сейчас решил, что эта будет самая твердая и самая последняя.

Он широко зашагал к воротам и на ходу проговорил тихо, но решительно:

– Самое честное-расчестное слово, что сразу же надаю ей по шее, как только увижу... – Несколько шагов он сделал молча, а потом добавил: – Если будет еще рисовать... или дразниться.

Он был уверен, что теперь обязательно выполнит свою клятву. Правда, ему не хотелось выполнять ее сейчас.

Лучше когда-нибудь потом. Вовка даже чуть не оглянулся с опаской: не появилась ли девчонка? Но тут же решил, что оглядываться не стоит, и отправился дальше, решительно печатая шаг. От такого печатанья выбились наружу белые с зелеными полосками носочки, которые Вовка всегда заталкивал в кеды – чтобы не портили вида. Потому что это были какие-то девчоночьи носки.

Вовка нагнулся и стал запихивать их обратно, с глаз долой.

Он стоял теперь в тени клена. Тень была такая густая, что солнце пробивалось лишь отдельными бликами. Блики были совершенно круглые – большие солнечные чешуйки. Они плясали вокруг Вовки, прыгали по ногам, по ладоням. Вовке даже показалось, что они щекочут его, словно крылья бабочек. И тихо-тихо шелестят.

Но он не успел понять, правда это или нет. Большой желтый лист отделился от клена и тихо лег на Вовкино плечо. Зубцами вниз, как золотой генеральский эполет.

Вовка выпрямился и с благодарностью взглянул на клен. Там было много желтых листьев. Наверно, этот клен раньше других деревьев почувствовал, что тепло последних августовских дней обманчиво и лето вот-вот кончится. А может быть, он увядал потому, что его не вовремя и не очень удачно пересадили из старого парка в этот двор. Да и скучно одному на новом месте, – Вовка это знал по себе.

Он хотел сказать клену что-нибудь хорошее, но не успел. Услышал окрик:

– Вова! Ну, что ты копаешься! Иди скорей!

Это сестра. Она распахнула окно и с четвертого этажа наблюдала за Вовкой.

Вовка снял с плеча лист, подумал и сунул его под рубашку. Бросать его было почему-то жаль. И неловко перед кленом...

– Во-ва!!

Он шагнул к воротам.

– Подожди!

Вовка остановился. Он понимал, что сестре не очень нужно, чтобы он шел скорее. Ей другое нужно. Она будет теперь на весь двор выкрикивать советы и наставления, пока в окне напротив не покажется длинный белобрысый парень с утиным носом. Он появится в окне и станет будто просто так оглядывать двор и насвистывать сквозь зубы. Тогда Вовкина сестра прокричит последнее наставление, плавно поведет плечами и скроется в глубине комнаты.

Все это Вовка отлично знал и не одобрял такого поведения. Но молчал. Сестра была почти в два раза старше и держала его в строгости.

– Нигде не задерживайся! – крикнула она.

– Ладно!

– И не выбирай очень большой! А то будет тяжело нести!

– Не буду!

– И не потеряй сдачу!

Вовка с тоской покосился на окно, в котором должен был появиться его спаситель. Спасителя не было.

– Владимир! Я с тобой разговариваю!

Разговаривает! Вопит, как репродуктор на стадионе...

– Не потеряю! – крикнул Вовка и качнулся в сторону ворот.

– Подожди! Осторожней переходи через улицу! Там машины!

Надо же! Машины! А он думал, что слоны и дирижабли!

Парень в окне так и не появился. Значит, у сестры будет скверное настроение.

– Вова! Ты слышишь?!

– Хо-ро-шо! – крикнул он и рванулся за ворота.

Вовка пересек мостовую, добежал до угла и свернул в маленький сквер. Там над аллеей сомкнули ветки высокие тополя.

И плясали на песке чешуйки солнца...

Здесь их были тысячи. Они то и дело собирались вместе, но не сливались в расплывчатые пятна, а прыгали друг по другу, резвились, как светло-рыжие котята.

Вовка шагал по ним вприпрыжку, и кленовый лист шевелился под рубашкой, словно маленький зверек. Скреб по животу мягкими коготками.

– Тихо ты... – сказал ему Вовка.

Он вышел из сквера, проскакал еще квартал и остановился у ларька с бело-синим полосатым навесом.

Под навесом, в деревянной клетке, лежали темные полосатые арбузы с поросячьими хвостиками... Как спящие кабанята. Сердитая продавщица в синем халате с размаху выхватывала из клетки то одного, то другого «кабаненка» и опускала на шаткий прилавок перед покупателем.

Покупатели были придирчивы. Некоторые щелкали по зеленому лакированному боку, придвигали ухо и слушали: гудит или не гудит? Другие щупали и крутили в пальцах тощие арбузы хвостики. Третьи не доверяли никаким приметам и требовали сделать вырез. Продавщица ворчала и со свирепым лицом всаживала тонкий сверкающий нож. Вовке каждый раз казалось, что раздастся пронзительный поросячий визг. Продавщица ловко выхватывала из арбуза красную или розовую пирамидку мякоти и начинала визгливо доказывать, что арбуз не обязательно должен быть очень красный и что он и без красноты может быть сладкий. Но откусить не давала, и ей не верили.

Чем ближе подходила Вовкина очередь, тем сильнее он беспокоился. Выбирать арбузы по хвостам и по звуку он не умел, а попросить продавщицу сделать вырез ни за что бы на свете не решился.

А ему нужен был очень спелый арбуз. Сам-то Вовка съел бы и незрелый, но сестра любила только хорошие арбузы. Если Вовка купит хороший, настроение у сестры, может быть, улучшится. И может быть, она вспомнит, что

обещала сходить с Вовкой в планетарий, который открылся в краеведческом музее. Андрюшка, Вовкин сосед по старой квартире, рассказывал, что там показывают, как крутится Земля и почему бывают затмения. И разные планеты показывают...

И когда подошла очередь, Вовка вытянул над прилавком руку и указал на самый большой арбуз. Самый большой – значит, самый спелый. В этом Вовка был совершенно уверен.

Продавщица с сердитым удивлением уставилась на щуплого мальчишку-покупателя. Перевела взгляд на арбуз. Потом опять на Вовку. Снова на арбуз.

– Этот, что ли? – отрывисто спросила она.

Вовка робко кивнул.

– А кто потащит? Я его за тебя потащу? – поинтересовалась продавщица.

Вовка вспомнил, как помогал Андрюшке втаскивать на третий этаж велосипед, и сказал:

– Я сам...

– «Сам»! – передразнила она. – Брюхо надорвешь, а с меня спросят.

«Не продаст», – подумал Вовка и соврал:

– Я близко. Я рядом живу.

– Рядом... – проворчала она, однако с кряхтением подняла арбуз и опустила на весы. Весы жалобно дзинькнули.

– Надорвется пацан, – заговорили в очереди. – Виданное ли дело... Взрослому и то... Куда родители смотрят...

– Если что случится, мое дело маленькое, – заявила продавщица уже не для Вовки, а для других покупателей.

– Ничего не случится, – убедительно сказал Вовка.

Он чуть присел, и продавщица скатила ему арбуз на согнутые руки.

Ух! Вот тут-то Вовка понял, что значит земное притяжение! Просто удивительно, что в первую же секунду он не грохнул арбуз и сам удержался на ногах. Но он не

грохнул и удержался. И в первую секунду. И во вторую. И в третью...

Потом он сделал шаг. Еще и еще. И пошел.



Он шел, хотя ему казалось, что руки вот-вот разогнутся или он вместе с арбузом провалится к самому центру планеты.

Прохожие охали и оглядывались на мальчишку с такой тяжелой ношей. Казалось, что ноги у него в коленках переламываются от непосильного груза, как лучинки. И сам он тоже скоро сломается.

Вовка нес арбуз, откинувшись назад, чтобы часть тяжести перевалить с рук на грудь. Но от этого начинали сползать штаны, потому что резинка была не очень тугая. Приходилось их придерживать локтем. Кроме того, Вовка забыл сунуть в карман сдачу и держал ее в кулаке. Это было тоже неудобно.

– Подсобить? – спросит высокий парень в железнодорожном кителе.

– М-м... – сказал Вовка. И разозлился на себя за свое упрямство: ведь было бы здорово, если бы кто-нибудь помог!

Парень удивленно покачал головой и ушел.

Вовка двигался мелкими шажками. Носки с зелеными полосками снова выбились наружу, но он этого даже не знал. Он не видел своих ног. И дороги не видел. И многого другого. Арбуз загородил собой полмира. Его громадная круглая верхушка покачивалась перед Вовкиными глазами и отливала малахитовым блеском.

«Только бы добраться до сквера... – думал Вовка. – Пока руки не отломились...»

Только бы добраться до сквера... А там скамейки. Можно отдышать хоть на каждой. А потом – через дорогу и в подъезд. Правда, там еще лестница, но ведь на лестнице тоже можно отдышать... Только бы дотянуть до первой скамейки!

И он дотянул.

Он опустился перед скамейкой на колени и положил руки с арбузом на сиденье, сколоченное из пестрых реек. Что-то очень острое попало под левую коленку, но Вовка сначала даже не обратил внимания.

– Ух... – тихонько сказал он и несколько секунд не шевелился. Только прижался к арбузу щекой. Арбуз был гладкий и прохладный.

Вовка осторожно освободил из-под него ослабевшие руки и встал.

Оказалось, что в колено ему впились острыми краями пробка от пивной бутылки. Теперь она отвалилась, и на коже остался тонкий красный отпечаток – звездочка с мелкими зубцами. Вовка поморщился, поспешил потереть колено. Звездочка не оттерлась, а колено покраснело.

Вовка сердито пнул пробку. Она подскочила и перевернулась вверх блестящей спинкой. Солнечные чешуйки сразу же запрыгали через нее, выбивая мелкие искры. Тогда Вовка поднял пробку и наклонился над арбузом.

Интересная мысль у него появилась: украсить арбуз узорными отпечатками. Вовка вдавил пробку в твердую зелень корки и полюбовался первым оттиском. Потом хотел продолжить свое интересное дело, но услышал шаги и поднял голову.

Шли мальчишки.

Их было двое. Шаги их были медленны, лица непроницаемы, а намерения неясны.

Вовка ощутил тоскливое беспокойство.

А мальчишки приближались.

Каждый был года на три старше и на голову выше Вовки. И, наверно, поэтому они на него даже не смотрели. Они смотрели на арбуз. Конечно, такой необыкновенный арбуз был для них в сто раз интереснее обыкновенного Вовки.

Но это как раз и плохо. Ради такого интереса они могли сделать с арбузом что угодно. Вдруг им захочется узнать, как он выглядит внутри. Или попробовать на вкус. Или просто придет в голову испытать, громко ли он треснет, если трахнется на землю. А заодно отвесить Вовке по шее «макаронину», чтобы не вздумал зареветь...

Мальчишки были уже в пяти шагах. Особенно опасным Вовке показался один – в синем тренировочном костюме, с темным ежиком волос и черными, какими-то хитрыми глазами. У второго были светлые, зачесанные набок волосы и такая же, как у Вовки, рубашка – белая с красными поперечными полосками и квадратным воротом. Эта рубашка почему-то слегка успокаивала Вовку. Но все-таки он ждал мальчишек с большой тревогой.

Они подошли и остановились у скамейки. И все так же смотрели только на арбуз.



– Вот это шарик! – сказал темноволосый. – Глянь, Захар!

Захар потерял пуговицу на такой же, как у Вовки, рубашке и медленно ответил:

– Я и так... гляжу. Ничего себе глобус...

Глобус... Вовка представил свой арбуз на черной лакированной подставке с тонкой ножкой и неосторожно хихикнул. Ребята разом глянули на него, и Вовка поспешно сжал губы.

Темноволосый мальчишка спросил:

– Это твой?

– Мой, – сказал Вовка и почему-то вздохнул.

– Сам тащил?

Вовка на всякий случай вздохнул еще раз.

– Сам...

– Врешь, – Острые черные глаза быстро и недоверчиво ощупали Вовку.

В них почудились Вовке холодные огоньки.

– Честное слово, не вру... – торопливо заговорил он, – Я тащил, тащил... Думал, лопну, – Он хотел пробудить в мальчишках жалость и отвлечь их от опасных мыслей, если такие у них имелись.

– Силен, – произнес Захар.

И Вовке показалось, что в голосе его появилось уважение. Но приятель Захара сказал без всякого уважения:

– «Силен»! Он его катил по земле, наверно. Катил?

– Тащил, – тихо, но твердо ответил Вовка, – Если бы катил, были бы вмятины, – И он с надеждой посмотрел на Захара.

Тот заступился:

– Шурка, ты чего пристал к человеку? Ему и без тебя тошно. Вон какую планету на себе нес...

Вот это сказал! Планету! А ведь верно. Вовка вспомнил картинки про космос, которые видел в каком-то журнале. В черной мгле там светились туманные пятнистые

шары планет. Желтые, розовые, голубоватые... А этот зеленый. Ну и что? Все равно похоже. Теперь понятно, почему в арбузе такая тяжесть: большая Земля притягивала к себе маленькую зеленую сестру...

А Захар и Шурка уже отвернулись и опять разглядывали арбуз. Будто и в самом деле изучали новое небесное тело. И Вовка слышал непонятные слова:

– По ходу стрелки...

– Линия широты...

– Период обращения...

– Если полнолуние, тогда наивысшая точка...

– При чем здесь точка?..

– Сам ты чурбан...

Это последнее было уже понятно. Вовка осторожно просунул голову между спорщиками: о чем это они?

Шурка недовольно глянул на Вовку:

– Когда бывают самые большие приливы в океане? Знаешь? Ничего ты не знаешь.

– Наверно, когда шторм, – неуверенно высказался Вовка.

– Он так же, как ты, разбирается, – ехидно сказал Шурка Захару.

Тот хотел ответить, но вдруг посмотрел в конец аллеи и сообщил:

– Приближается мой братец. Чего ему надо?

По аллее бежал маленький мальчишка в большой красной тюбетейке. Он был толстый, и бежать ему было трудно. Он двигался тяжелыми, неумелыми скачками. Тюбетейка держалась слабо и при каждом скачке подпрыгивала над головой, как крышка над чайником. Мальчишка, топая, подбежал и затормозил перед Захаром.

– Ну, чего тебе? – с досадой сказал Захар.

– Вот, на... – Толстый брат протянул ему блестящую монетку. – Двадцать копеек. Лизка велела кусок мыла купить и сразу домой принести. А потом уже идите куда хотите.

– «Не хотите», а «хотите», – мрачно сказал Захар. – Кто тебя просил нас догонять? Мыло еще какое-то ей понадобилось.

– Пусть забирает деньги и топает домой, – предложил Шурка. – Скажет, что не догнал нас. Талька, ты понял?

– Правда, Виталий... – просительно сказал Захар.

Но Талька уже отдышался и сделался спокойным и важным.

– Не пойду. Она меня отлупит, – объяснил он и решил, что с этим вопросом покончено.

Вытянул из кармана желтое, как луна, яблоко и поднес ко рту. Но не откусил. Увидел арбуз.

– Это что? – спросил он.

– Это арбуз, – сдержанно ответил Захар. – По-моему, ты не слепой.

Талька глянул на Вовку:

– А это?

– Это хозяин арбуза, – сказал Шурка.

– Будем есть? – деловито поинтересовался Талька.

– Хозяина или арбуз? – спросил Шурка.

– Хватит вам, – вмешался Захар. – Талька, дай яблоко.

– Зачем?

– Дай сюда яблоко, – железным голосом повторил Захар.

Талька вздохнул и дал.

– Вот теперь смотри, Шурка. Это Луна. – Захар поднял яблоко над арбузом. – Видишь, во время полнолуния она стоит на одной линии с Солнцем, и вся вода в океане начинает притягиваться...

– Затмение получилось, – вдруг сказал Талька и ткнул пальцем в круглую тень яблока на арбузе.

Шурик удивился:

– Смотри-ка, правда! Образованный он у тебя. Академик...

Вовка тоже удивился. Он сам совсем недавно узнал,

как и отчего случаются солнечные затмения, и гордился этим знанием. А толстый Талька, который, наверно, еще и в школу не ходил, знает про затмения не хуже Вовки.

– Хорошая планета, – серьезно сказал Талька. – Вот леса. – Он провел пальцем по темно-зеленым полоскам на арбузной корке.

– Меридиональные леса, – непонятно сказал Захар. Талька указал на отпечаток звездочки.

– А это что?

– Это главный город планеты, – осмелев, объяснил Вовка. Ему понравилась такая игра. Арбуз уже совсем превратился в планету, и она была не чья-нибудь, а Вовкина.

– Хороший город, – сказал Талька.

Захар отдал Тальке яблоко и повернулся к Шурке. Но тот напряженно смотрел в сторону.

– Ой, полундра, – произнес он слабым голосом. – Сюда движется Лизавета.

– Батюшки! – басом сказал Талька.

– Смываемся? – спросил Шурка.

Захар вздохнул:

– Поздно.

Стремительно и широко по аллее шагала девчонка в черных штанах и черной блузке. Ростом она была с Захара. Волосы ее развевались, а лицо было как у полководца перед атакой.

– Держитесь, мальчики, – шепотом сказал Захар. Шурик зябко повел плечами. Лизавета остановилась в двух шагах, прищурилась и сказала:

– Н-ну?

Захар, как дошколенок, шмыгнул носом. Талька вроде бы похудел. У Шурика сделалось глупое лицо, и он сказал:

– А чего...

– Вы уже сходили в магазин? – с ядовитой улыбкой спросила Лизавета.

– Ладно тебе... – осторожно произнес Захар. Лизавета не обратила на это внимания. Она стояла, упершись кулаками в бока и слегка притопывая.

– Где же мыло? – Улыбка ее сделалась зловещей.

– Не устраивай скандалов при посторонних, – тонким голосом сказал Шурка. – Мы не рысаки, чтобы с такой скоростью бежать в магазин.

– Вы не рысаки. Вы ослы, – ласково сказала Лизавета. – Вы бараны. – Голос ее стал громче. – Столбы! Чугунные тумбы! Вросли в землю, как пни, а у меня стиральная машина рычит на холостом ходу и вода остывает! Я так и знала, что вы где-нибудь застрянете! Я это вам запомню. Тебе, Сережка, особенно запомню, – Она в упор уставилась на Захара.

«Почему же он Сережка?» – машинально подумал Вовка. На Лизавету он смотрел с опаской и чувствовал себя неуютно.

– Обед ты сегодня не увидишь, – пообещала Лизавета Захару, – Так и знай. Будешь голодным сидеть, пока мама не придет. Тальку накормлю, а тебе – во! – И она показала крепкий кулак.

«Это его сестра. Все сестры одинаковы», – подумал Вовка. И сказал:

– Они не виноваты. Они помогали мне тащить арбуз.

И как это ему пришло в голову? Зачем? Вовка не знал. Язык будто сам сработал.

Все сразу повернулись к нему. Захар и Шурка уставились с удивлением, Талька заморгал, а Лизавета глянула подозрительно.

– Врешь, по-моему...

– Я? Я никогда не вру, – с беспримерным нахальством заявил Вовка. – Думаешь, я один тащил такую глыбу? Ну-ка, подними!

В черных Шуркиных глазах опять заплясали искры.

– Мы, конечно, могли и не тащить, – небрежно сказал



он. – Только это было бы свинство. Все-таки раз человек просит...

Захар смотрел на Вовку с молчаливой благодарностью. Шурик вдохновенно врал:

– Мы тащили, тащили, а потом решили посоветоваться, кому тащить дальше, а кому бежать в магазин за мылом. А тут как раз Талька и говорит: «У, какая планета!» Мы смотрим – правда похоже. Ну, начали разглядывать и немножко задержались...

– «Задержались»! – хмуро передразнила она. Однако было уже видно, что без обеда Захар не останется.

Сам он тоже это почувствовал. И решил вступить в разговор:

– Понимаешь, мы тут про приливы вспомнили. Помнишь книжку «Тайны океана»? Ну вот. Вспомнили и начали разбирать, будто на глобусе. Это же нам пригодится... А арбуз – совсем как планета.

Лизавета подошла и остановилась над арбузом.

– Приливы... – медленно сказала она. Лицо ее было уже не сердитым.

– Вообще-то на такой планете другие условия... – начал Шурка и замолчал.

Лизавета долго ничего не говорила, только щурилась и внимательно глядела на арбуз. А потом тихонько сказала, будто у самой себя спрашивала:

– А бывают такие планеты? Целиком зеленые?

«Не знаю...» – подумал Вовка. И вдруг представил себе сказку. Это было как сон, который он увидел, даже не закрывая глаз: в очень черном небе светила яблочная луна и серебристо сверкали звезды, похожие на жестяные пробки от бутылок; свет их запутывался в тонких, как папиросная бумага, маленьких облаках, и под этой луной, под этими звездами и облаками медленно поворачивался громадный шар зеленой планеты. Шар с темными линиями лесов, блестящими пятнами морей и желто-серой пустыней у Северного полюса. По пустыне, звякая бубенцами, тянулся караван зеленых верблюдов, и длинные черные тени их торжественно шагали рядом, на песке. Погонщики в халатах и тюрбанах салатного цвета медленно качались на горбах и в полудреме клевали носами, похожими на прыщеватые огурцы. В пустыне не росло ничего, кроме кактусов. Это были зеленые шары и колбасы с длинными колючками. От одного кактуса к другому перебежками крался за караваном светло-зеленый, с темными полосками тигр. Колючки царапали его пыльную шкуру, и тигр мяукал жалобно и сердито, как голодный кот.

Пустыня кончалась на берегу океана, где волны, прозрачные и темные, как бутылочное стекло, лизали с ворчаньем глыбы малахита. Вдали от опасных береговых скал прыгали на волнах пузатые корабли, похожие на выдолбленные половинки громадных арбузов. У кораблей были паруса в светлую и темно-зеленую клетку. Отчаянные ка-

питаны, позеленев от натуги, кричали в рупоры непонятные команды. Они плыли открывать неведомые земли.

Эти земли заросли густым тропическим лесом. В чащах орали хриплыми голосами ночные птицы, а на полянках среди хижин из пальмовых листьев толпились веселые охотники – лесные жители. Они спорили: пустить к себе отчаянных морских капитанов или с помощью метких стрел предложить им убираться подальше в свой океан. Самый старый охотник с бородой, похожей на водоросли, говорил, что пусть уходят. Потому что в прошлом году эти капитаны побывали на Острове Табачного Листа и вели себя там совершенно неприлично: они научили местных попугаев ужасным пиратским песням. Теперь все попугаи острова круглыми сутками вопят в лесах:

Мы бесстрашны, как акулы!

Наша жизнь – сплошные каникулы!

– А полярная шапка у этой планеты есть? – придирчиво спросила Лизавета.

– А это что! – Шурка ткнул в светлое пятно на арбузей макушке.

– Это пустыня, – ревниво сказал Вовка.

– Тогда посмотрим на Южном полюсе, – решил Захар.
– Взяли.

Они втроем подняли арбуз над головами и стали похожи на скульптуру соседнего фонтана – ребята с большим мячом.

– Тут, наверно, тоже пустыня, – сказала Лизавета. – Желтое пятно... Ой!

И случилось непоправимое.

«А он не такой уж спелый», – вот что подумал Вовка в первую секунду. И лишь после этого испугался.

Куски арбуза были розовато-красными. Белые и темно-коричневые семечки блестели в них рядами, словно кноп-

ки нового баяна. Ветер заботливо относил в сторону облако пыли, поднявшееся от удара.

– Все... – сказал Шурка.

Вовка стоял и ничего не говорил. Двигаться и говорить было бесполезно. Большая Земля все-таки притянула маленькую зеленую планету. А когда планеты сталкиваются, обязательно бывает катастрофа. «Что же теперь делать? – думал он. – Что же теперь делать? Что же теперь...»

– Здорово попадет? – шепотом спросил Шурка.

– Наверно... – откликнулся Вовка.

– Такая была планета... – тихо сказал Талька.

И вдруг Вовка понял, что не боится. Ему было просто очень жаль арбуз. Не арбуз, а планету. Жаль зеленой сказки, которая разбилась. А больше всего было жаль, что вот сейчас эти мальчишки и Лизавета уйдут и он потащится домой один. Дома ему, конечно, влетит, но не в этом дело. Была сказка, была игра, были ребята, уже немножко знакомые. Было хорошо.

А сейчас стало плохо...

– Такая хорошая была планета, – снова сказал Талька.

– Перестань хныкать! – приказала Лизавета. И спросила у Вовки: – Сколько он стоит?

– Рубль восемьдесят.

– А у нас только двадцать копеек, – уныло сказал Шурка.

Вовка покачал головой:

– Второй покупать нельзя. Все равно она догадается. По сдаче догадается. Таких больших арбузов больше нет, а если маленький купить, значит, должно денег больше остаться. А у меня мало осталось...

– Кто это «она»? – спросила Лизавета.

– Ну, сестра... Старшая.

– Все сестры такие, – мрачно сказал Захар.

– Умолкни, – сказала Лизавета.

Вовка вздохнул:

– Лучше уж я так... Объясню.

Лизавета молчала.

– Он ведь сам тащил этот арбуз. Без нас, – сказал Шурка.

Лизавета все равно молчала.

– Слушайте, Захаровы! – начал Шурка, – Давайте дотащим до его дома все эти куски. Скажем, нарочно разбили, чтобы легче нести было.

«Значит, у них такая фамилия, – подумал Вовка, – Захар – это Сережка Захаров».

– Понесем! – настаивал Шурка.

– Не городи ерунду, – поморщилась Лизавета.

Вовка понял, что надо что-то сказать. И сказал:

– Чепуха. Не стоит переживать, – Это получилось у него довольно храбро. Еще он добавил: – Мне даже лучше: не тащить такую тяжесть.

– Ненормальный! – возмутилась Лизавета, – Неужели мы бы дали тебе одному нести!

Вовке показалось, будто теплая волна прошла по нему. И захотелось сделать что-нибудь хорошее для этой грозной девчонки и для этих ребят. Но ничего хорошего он сделать не мог и только тихо сказал:

– Давайте съедим планету. Все равно уж теперь.

– А правда... – сказал Шурка.

– Справимся? – спросил Сережка Захаров.

– Справимся, – уверенно ответил Талька.

Это было нелегкое дело – съесть такой арбуз. Нужно было время. И терпение.

Они впятером сидели на скамейке и по уши вгрызались в мягкие красные куски. Семечки прилипали к щекам и подбородку.

– Ты где живешь? – спросил Сережка.

Вовка, не переставая жевать, объяснил.

– Это же рядом с нами, – заметила Лизавета. – Всего через дом.



– Приходи, – сказал Шурка. – Мы в «царя-гороха» играть будем. Умешь?

– Ну как он может уметь? – вмешался Сережка. И объяснил: – Мы сами эту игру придумали. Вроде лапты, только с тремя мячиками. Мы тебя на левый край поставим.

Лизавета подняла голову. На ушах, как блестящие клипсы, висели прилипшие семечки.

– На левом крае у нас Павлик Сенцов играет, – сказала она. – Куда же его девать?

– А в запасные, – объяснил Шурка. – Он же слабак. Думаешь, он поднял бы такой арбуз?

– Лопнул бы, – откликнулся Сережка.

Шурка вытер рукавом подбородок, посмотрел на всех по очереди и осторожно спросил:

– А насчет ПЭС? Сказать? Ведь из-за нее же все...

– Можно, – решил Сережка и повернул к Вовке мокрое лицо. – Мы электрическую станцию делаем, которая от

морских приливов работает. Ну, пока модель, в ванне. Уже десять дней возимся. Приходи – увидишь...

Вовке стало весело.

– Я приду, – пообещал он, – Обязательно. Сегодня меня, наверно, не выпустят, а завтра приду. А то у нас во дворе даже ребят нет. Только мелкота всякая. Есть еще одна девчонка, да она какая-то... не поймешь.

...Вовка вошел во двор и сразу отыскал взглядом свое окно. Он подумал, что, может быть, увидит в окне сестру и та его сразу спросит: «Ты где это бродяжничал столько времени? Где арбуз?» И тогда Вовка отсюда, издалека, объяснил бы ей все. Издалека такие вещи объяснять гораздо лучше.

Но окно было закрыто и отражало синее блестящее небо.

Вовка тихонько вздохнул. И, наверно, от этого вздоха проснулся и зашелестел клен. Сверху снова сорвался светлый пятипалый лист и снова упал на Вовкино плечо. Как будто дерево хотело утешить мальчика и положило ему на плечо легкую ладонь.

– Такая хорошая была планета... – доверительно сказал Вовка клену.

Тот сочувственно закивал ветвями.

– Ладно, ничего, – сказал Вовка.

Он посмотрел на свой подъезд и тогда увидел девчонку.

Она сидела на корточках недалеко от крыльца и опять что-то рисовала на асфальте. Видимо, новый Вовкин портрет. Ведь она ничего не знала. Она думала, что Вовка сейчас такой же, как вчера. Такой же, как утром.

А он уже понимал, почему бывают приливы и отливы. Он умел устраивать солнечные затмения. Он пережил гибель зеленой планеты. И стоило ли после этого думать о глупой девчонке с ее дурацкими рисунками?!

– Такая была планета... – негромко и с чувством повто-

рил Вовка. Потом он затолкал кулаки в тесные кармашки штанов и зашагал к подъезду.

До девчонки оставалось шагов десять. Тогда она быстро поднялась и повернулась навстречу Вовке. Пальцы опущенных рук сжались в твердые кулачки. Глаза сузились и сделались, как два тонких золотых полумесяца.

– Только подойди... – негромко сказала она.

Вовка шел.

Девчонка мотнула головой, убирая со лба длинные пряди. Руки у нее чуть согнулись в локтях.

– Только подойди... – повторила она напряженным голосом.

Вовка шел. Кеды, «две монеты», медленно ступали по серому асфальту. Было в этой мягкой неторопливости что-то непонятное и тревожное. Острые кулачки девчонки дрогнули. Глаза стали широкими.

– Подойди только! – сказала она громко и растерянно. И поняла, что он подойдет. И что лучше ей не ждать, когда он подойдет.

Она отскочила. Отбежала в сторону. Хотела крикнуть Вовке что-нибудь обидное. Хотела – и не смогла. Кончилась ее власть. Рухнуло ее могущество. Теперь не от нее, а от Вовки зависело то, о чем она потихонечку мечтала: чтобы перестать быть врагами и чтобы вместе рисовать на асфальте не страшных уродов, а удивительных и веселых зверей.

Она смотрела на Вовку удивленно и грустно. А он прошел и не взглянул на нее. И растоптал рубчатymi подошвами ее рисунок.

Она тихонько пошла следом и остановилась в подъезде.

Вовка медленно поднимался по лестнице. Он шел навстречу неприятностям и невздам. Но он не боялся. Он шел печальный и гордый.

А внизу, прислонившись к косяку, стояла девчонка. Тоже печальная. И слушала, как затихают Вовкины шаги...

Но, наверно, оба они немного притворялись. Чуть-чуть. Грусть их не была такой уж сильной. Потому что пробивались сквозь нее светлые пятнышки, похожие на круглые чешуйки солнца.



Серия «Школьная библиотека»

**ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
(ДЛЯ 5-ГО КЛАССА)**

*Книжное литературно-художественное издание
для детей среднего школьного возраста*

Составитель

Юдаева Марина Владимировна

Художник

Соколов Геннадий Валентинович

Главный редактор А. Алир

Технический редактор М.В.Юдаева

Компьютерная вёрстка Д.А.Володин

Корректор С.П.Мосейчук

Ответственный за выпуск И.Н.Полякова

Подписано в печать 22.12.2014.

Формат 60x90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. п. л. 8.

Гарнитура «Ньютон».

Тираж 20000 экз. Заказ № 3021.

ООО «Самовар-книги»

125047, Москва, ул. Александра Невского, д.1.

Информация о книгах на сайте www.knigi.ru

Оптовая продажа: ООО «Атберг 98»

(495) 925-51-39 www.atberg.aha.ru

Интернет-магазин: www.books-land.ru

Отпечатано в филиале «Тверской полиграфический комбинат
детской литературы» ОАО «Издательство «Высшая школа».

170040, Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

Тел.: +7(4822)44-85-98. Факс: +7(4822)44-61-51.

© К.Г.Паустовский, наследники, текст.

© А.П.Платонов, наследники, текст.

© Р.П.Погодин, наследники, текст.

© В.П.Крапивин, текст.

© ООО «Самовар-книги»,
составление, серийное оформление.

© РИО «Самовар 1990», иллюстрации.

ЕАС

Артикул К-ШБ-15

ISBN 978-5-9781-0922-1

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Серия рекомендована
Департаментом
общего среднего образования
Министерства
общего и профессионального образования
Российской Федерации



Художник
Теннадий Соколов



9 785978 109221 >